

НЕ СОТВОРИ КУМИРА

ВОТ ОНО что, оказывается! Александру Исаевичу Солженицыну нужна гласность. Ему — лично. Для себя! Для саморекламы. Еще раз протрубить на весь мир очередное заявление, в котором его собственное имя было бы центральным пунктом, а все остальное — обстоятельства, события, люди — обрамлением, рамочкой. И какая удобная, в самый раз подвернувшаяся трибуна для оглашения такого заявления — могила Воронянской! Этой несчастной старухи, заплатившей жизнью за свою собачью преданность ему.

Говорю:

— Не пойдет. Не будет от меня никаких заявлений.

Заявлять — это значит жаловаться. За всю жизнь никогда никому не жаловался. Тем более сейчас не буду жаловаться, да еще Западу, который 27 лет назад спокойно и вежливо вытолкнул меня, вымел, как выметают мусор. А что с нами должно было случиться—это их не касалось. Для них в тот момент хорошие отношения с большевиками были важнее моей персоны. И не только моей, а и многих тысяч таких же, как я.

— Так и передайте — никаких заявлений от Самутина не будет.

Ушел. По всей видимости, недовольный.

А меня завинтило. Не могу уснуть. Верчусь и чертыхаюсь.

Что за поветрие — жалобы иностранным корреспондентам?

Ведь до того дело дошло, что я покойницу Елизавету Денисовну даже пугал своим «пророческим даром». Как-то уловил «ритм» выступлений и заявлений Александра Исаевича. И за неделю-другую предсказывал его очередное обращение к иностранным корреспон-

дентам. Темы, правда, не угадывал. Поди узнай, когда о творческих планах расскажет, а когда просто на голодуху пожалуется. Но сроки определял точно: каждый раз, когда шум вокруг его имени утихал и нужно было поддержать его уровень очередным сообщением о жизни «великого страдальца».

Ну, с ним-то все ясно. А другим эта толкотня в передних у иностранцев для чего? Не хочется же дурно думать о людях и предполагать только материальный интерес. Что касается «идейной» стороны дела, то только очень уж наивный и несмышленный, начинающий может вообразить, что такие обращения к заграницам могут принести какую-то пользу. Знал я про одного «инакомыслящего», о котором в какой-то голландской газете расписали, что он-де видный советский историк и длительное время находился в заключении. Казалось бы, сделали доброе дело человеку: создали ему приличную репутацию в стране Голландия. Парень по недомыслию стал хвастаться иноземной газеткой среди знакомых. И результат — оказался посмешищем. Окружающие-то знали, что «ученого» выперли со второго курса истфака за прогулы. А «отсидка» длилась четыре... дня, пока не разобрались, что фарцевал наш знакомый по мелочам, и отпустили.

Впрочем, забегая вперед. Недавно я узнал, что этот самый мелкий грешник попал наконец в свою дорожную Голландию и подвизается там в качестве... доцента-историка!

Иной пример. На этот раз всамделишный академик. Очень ему польстило обращение всемирно известной газеты «Ди вельт» за интервью. А когда номер этой всемирно известной появился в Москве, академика спросили: что же это вы такую околесицу несете? Академик

пришел в ужас, когда ему перевели немецкий текст. Объяснил, что, во-первых, никогда ничего подобного не говорил, а во-вторых... Произошло, дескать, недоразумение. Корреспондент, видите ли, владел только немецким языком, а он, академик, слабо английским. Академик калял в безответственности.

Любопытна и мотивировка, которую он привел как объяснение самого факта интервью. Ему, видите ли, хотелось сообщить... Советскому правительству о некоторых нарушениях законов, о которых ему стало известно. Решил сделать это через западную прессу, так как опасался, что иначе письмо его будет перехвачено... КГБ.

Итак, Солженицын посылал гонца за моим заявлением.

Не тот человек А. И., чтобы оплачивать такую поездку, да еще на такси, ради одного только вопроса: «архив» или «Архип»? Значит, мое заявление ему особенно нужно. Я должен из первых рук возвестить Западу, что «Архипелаг ГУЛАГ» взят. И пожаловаться на изъятие бумаг, которые принадлежали отнюдь не мне, а покойной Воронянской. О, если бы вы, почтенный А. И., приехали бы сами тремя днями раньше, разве не отдал бы я вам бумаги, да еще и поспешил бы, пока они не спохватились. Где же были вы или ваш человек? Почему наконец ни намека: жгите, мол, не медля все?..

Я еще раз хочу проверить себя. Может быть, я все-таки подвожу кого-то? Анонимных соавторов «Архипелага»? Но в рукописи всего несколько фамилий, связанных с такими незначительными эпизодами, что ими никто не интересуется. А генерал Головин из Праги или братья Солоневичи, из «произведений» которых взята вся «научная» часть книги, давно померли в надежных заграницах.

Пройдет немало времени, пока я смогу составить по отдельным репликам чекистов, сопровождавших меня в поездке на дачу и обратно, по скудным сведениям, что получу от наших общих с Елизаветой Денисовной знакомых, картину, что была мне еще неясна той ночью. И до сих пор я не нахожу ответа на

некоторые недоуменные вопросы, мучившие меня тогда, потерявшие сегодня всякую актуальность для меня, но, может быть, очень важные для выяснения истины. Как же случилось, что у меня смогли забрать рукопись «Архипа»?

Выяснится, что Елизавету Денисовну «пригласили» (по всей вероятности, так же как и меня) побеседовать с Николаем Семеновичем за три с лишним недели до моей с ним встречи и примерно за две недели до ее печальной кончины. Все это время она оставалась на свободе, имела полную возможность дать мне знать, что рукопись должна быть немедленно уничтожена. Или, по крайней мере, что надо мной сгущаются тучи. Она была свободна в своих передвижениях, могла приехать на дачу к нам, могла попросить сделать это кого-нибудь из своих немалочисленных друзей. Но этого не случилось.

Я не могу предположить, что Александру Исаевичу не было немедленно доложено и о разговорах с полковниками, и о том, что стало им известно. Какие же распоряжения отдал Александр Исаевич? Да намекни он хоть полсловечком, что я должен быть предупрежден, Елизавета Денисовна не на поезде — ползком, на карачках добралась бы до моей дачи, чтобы выполнить волю своего повелителя!

Значит, об этом речь не шла, и Александр Исаевич в течение двух-трех недель спокойно выжидал, пока «Архипелаг» будет взят.

Я представляю себе изумленную физиономию читателя. Как же так?! Выходит, что Солженицын был заинтересован в изъятии «Архипа»? Но другого объяснения я не вижу. И вместе с тем не вижу ничего странного в таком поведении Солженицына. Вспомним, 1973 год подходит к концу. Уже три с лишним года на свет божий не появляются новые произведения писателя, хотя обещано, что ежегодно будет выходить по новому роману из цикла, посвященного русской революции. Интервью, заявления или жалобы на то, будто ему, дескать, нечего кушать, способны в какой-то степени подогревать интерес к Солженицыну на Западе, но они вызывают в

лучшем случае сострадание, однако никак уж не восхищение.

Просто дать на Запад сигнал — публикуйте? Нельзя. Возмутятся самые близкие друзья, которых годами уверяли, дескать, обнародование «Архипа» приведет к гибели сотен людей. Так это или не так, но коли Исаич подобное утверждал, а потом решил на публикацию, значит, он решил пренебречь сотнями жизней? И ради видимой вынужденности такого шага отдал рукопись в руки властей.

Тем, кто решит, что я преувеличиваю, что пытаюсь навязать читателю плоды своей воспаленной фантазии, я хотел бы задать два вопроса.

Еще за 5 лет до описываемых событий знал я о существовании книги под названием «Архипелаг ГУЛАГ». Слышал не только от «посвященных», но и от людей, далеких от всякого диссидентства, самиздатовщины и прежде всего от знакомств с Солженицыным. Естественно предположить, что доходили сведения об этом и до властей. Но, насколько я могу судить, никаких мер по части поисков рукописи не предпринималось.

В начале августа 1973 года Воронянская сообщает сотрудникам госбезопасности, что «Архипелаг» хранится у некоего Леонида Самутина, адрес которого достаточно хорошо известен. Проходит три недели, и никто не интересуется ни Самутиным, ни рукописью. Только после самоубийства несчастной Воронянской, лишь через неделю после этого, Самутину задерживают и проявляют вдруг интерес к рукописи. А где же вы были, дорогие товарищи, три недели? Не так уж вы просты, чтобы не предположить, что Самутин мог за это время узнать о показаниях Воронянской и принять свои меры. Что останавливало вас перед тем, чтобы пожаловать, скажем, на дачу все к тому же Самутину и с присущей вам в наши дни вежливостью поинтересоваться, где хранится эта злосчастная рукопись?

Так что устраивает вас это или не устраивает, дорогой читатель, но я **вынужден** предположить следующее: после того как Воронянская сообщила властям о местонахожде-

нии рукописи, а они, тем не менее, на эту информацию не отреагировали, кто-то дополнительно известил соответствующие органы, будто «Архип» настолько опасен, что его следует немедленно изымать. Кто мог такое сделать? Предоставляю читателю возможность самому поломать голову над этим вопросом.

Проходят недели и месяцы. Я живу с этим страшным предположением, стараюсь самому себе доказать, что это невозможно. Абсолютно невозможно! Но доводы «защитника», чем больше пытаюсь укрепить и обосновать их, оказываются все более слабыми и иллюзорными. В конечном счете остается один, столь часто и столь многих вводивший в заблуждение во все века и у всех народов: «Он не мог сделать этого!»

«А почему, собственно говоря, не мог?» — слышу я голос «обвинителя». Вспомним-ка некоторые факты его биографии, чем-то похожие на эту ситуацию.

Один обыск и одно изъятие архива уже было. За семь лет до этого. Архив хранился у некоего Теуша. Фигуры в высшей степени одиозной. Десятки людей знали, что Теуш, ставший на старости лет философом-теософом, ищет легальных и нелегальных связей с Западом, встречается с иностранцами и наверняка находится в поле зрения соответствующей службы. Живет в коммунальной квартире. Сам Александр Исаевич рассказывал, что подозревает: его разговоры с Теушем мог запросто подслушать сосед. Да и место для хранения чемоданчика с рукописями — не в глухом лесу, а в коммунальном чуланчике!..

И вот именно в тот момент, когда это было исключительно выгодно Солженицыну, нагрянули «гости». Но самое удивительное развернулось потом.

Александр Исаевич, естественно, потребовал возвращения конфискованного. Ко всему миру обращался он с протестами.

Задолго до семейной драмы Солженицыных Наталья Алексеевна Решетовская сообщила мне, что мужа вскоре приглашали для разговора в Рязанский обком партии. Он

идти не пожелал (пока не вернут рукописи — никаких разговоров!). Пошла она. Там ей сообщили, что все бумаги Солженицына находятся в прокуратуре СССР, откуда он и может их незамедлительно получить. Наивная женщина полагала, муж обрадуется этому известию, тут же сядет за руль «Москвича» и помчится в прокуратуру за архивом. Увы, он не сделал этого ни на следующий день, ни через год, ни через несколько лет, продолжая повсюду устно и письменно жаловаться, что ему не возвращают его собственность. Наталья Алексеевна повторяла объяснения горячо любимого мужа: Саня, дескать, не хочет иметь дело с госбезопасностью. На простой довод, что прокуратура — это совсем иное учреждение, она возражала: «Саня считает, что это одно и то же». Поскольку так считал Саня, дальнейшая дискуссия была бесполезна.

А странная история «самодоноса» Солженицына на фронте, в результате которого он оказался за решеткой, но вдали от передовой? К этой истории мы еще вернемся...

А факты биографии А. И. Солженицына, о которых идет речь в «Архипелаге», — факты, которые не скажут многого тысячам читателей, но самоубийственные для автора с точки зрения тех, кто сам побывал на островах «Архипелага»? И о них мы еще поговорим...

Тем временем то на даче, то в городской квартире среди каких-то бумаг и папок, в книгах и просто на полках продолжали обнаруживаться «спасшиеся» от огня и канализации письма, странички рукописей, конверты и негативы. Они немедленно уничтожались. Но на одном кусочке пленки в маленьком без надписи пакетице я невольно задержался взглядом. И, как выяснилось, не напрасно. Сейчас, столько лет спустя, сколько ни силюсь, не могу припомнить, от кого пришел ко мне этот кусочек пленки — то ли остался от обширного архива Н. А. Решетовской, то ли это остатки «архива Воронянской». Да это в конце концов и не имеет теперь значения. Суть в том, что на документ под названием «Заявление от уроженца города Кисловод-

ска, находящегося в Москве на 2-м Лагучастке 15-го ОЛП Солженицына А. И.» я в свое время не обратил достаточного внимания. Но в тот момент, когда голова моя была занята стараниями разобраться в подлинном облике Солженицына, я многое увидел за казенными строками документа. Его стоит процитировать подробнее.

На бумаге (3 страницы) — нет даты, и можно лишь вычислить, когда она написана. «...Полтора года я лишен свободы». Значит, это июнь — июль 1946 года. О чем же просит в своем заявлении заключенный Солженицын?

«Прошу смягчить наказание, наложенное на меня, и заменить мне отбывание срока в исправительно-трудовых лагерях административной высылкой в любой, самый отдаленный район страны».

Если на подобное снисхождение всерьез можно было рассчитывать, если такая практика существовала в «Архипелаге» (а Солженицын был к тому времени уже далеко не новичком там), то все три тома «великой книги» следует немедленно бросить в печку! Если же ее не было, то для чего заявление, в котором перечисляются все доказательства преданности Солженицына Советской власти и того, что «Советская власть — это моя кровная власть и может рассчитывать на глубокую преданность... на деле» (выделенный шрифт Солженицына).

Этот документ заинтересовал меня, однако, не перечислением мнимых и действительных заслуг автора перед Советской властью — скрыть свои взгляды в официальном заявлении — это далеко не самое худшее, — а другим. Я не видел и никогда не увижу подлинного следственного дела Солженицына, и единственный источник сведений о нем — он сам. А вот что сообщает он в документе, в котором не солжешь, ибо тот, кому предстоит решить дальнейшую судьбу автора, будет держать его «дело» в руках: «Советскую власть я считал единственно правильной в мире... внешней политикой нашего государства я восхищался, марксистско-ленинскую теорию признавал несомненной (был воспитан и вырос на ней), все

основные принципы нашей внутренней политики (колхозный строй; индустриализация, победа социализма в одной стране, сталинская национальная политика, социалистическая плановость в экономике и др.) разделял...» Виноват Солженицын (по его же словам) лишь в том, что «по некоторым вопросам находился в заблуждении» да в «манере горячо и необдуманно бросаться фразами». Мы еще не раз сопоставим это по необходимости правдивое свидетельство с тем, что рассказывает нам сам Солженицын о своем «деле».

Вторая мысль, которая хочешь не хочешь приходит в голову при чтении этого документа. На что же в действительности рассчитывал Солженицын? На фантастическую наивность властей? На чудо? На помощь со стороны небес? Нет, расчет был гораздо трезвее и реальнее.

Один раз цензура сделала свое дело: хоть и путями неисповедимыми, Солженицын оказался вдали от фронта. Пусть цензура снова поработает. Пусть письма лагерников читаются так же, как письма фронтовиков. Пусть тот, кто читает это письмо, знает, что здесь, за проволокой на Большой Калужской улице, сидит не враг, а «верный сын Советской Родины», который может быть «полезнее для Родины во много раз, чем в качестве чернорабочего».

Июнь — июль 1946 года. Лагерь на Калужской. Не такой уж плохой лагерь. В одном из писем того времени Солженицын просит Наташу (Решетовскую. — Ред.) принести хозяйственного мыла. Он отдает стирать постельное белье и платит за это... хлебом! Многие ли в ту пору на воле могли позволить себе такое? И все-таки хочется принести больше пользы «моей кровной власти». Случайно ли, что именно в то лето Солженицын был вызван для вербовки и стал Ветровым?

Я чувствовал, что не мог не заниматься дальше раздумьями над психологическим портретом Солженицына. И речь шла уже не о «моем больном вопросе», почему ко мне пришли за «архивом» и «Архипом», а о чем-то большем.

С каждым годом я все больше и больше по отдельным, доходившим

до меня с разных сторон рассказам, по действиям, поступкам и высказываниям самого А. И. проник в суть этого человеческого характера. И постепенно в моем сознании стал вырисовываться портрет человека, совсем не похожий на тот, который существовал вначале, сложившийся под впечатлением его ранних книг, его официальной биографии, немногих личных встреч с ним и восторженных отзывов отовсюду.

Дорисовала этот портрет его последняя книга — «Бодался теленок с дубом». У многих не критичных сторонников Солженицына она вызвала очередную бурю восторгов, а мне открыла совсем другое — моральное падение писателя и деградацию художника. Но об этом должен быть совсем особый и не краткий разговор.

Глава вторая «Die Zeit»

23.IV.1976

Тео Зоммер

Политика, пророчество, мораль.
«...Голос Солженицына, голос Титана, пророка ветхозаветной суровости, опирающегося на опыт своего и чужого страдания, не может не вызвать нашего уважения...»

«Новое Русское Слово»

17.III.1976

Е. Рачинская

«...Это был голос человека, по истине прошедшего испытание огненным крещением...»

«Times»

2.III.1976

Бернард Левин

«Видя его, начинаешь понимать, что означало когда-то выражение «Святая Русь». В словах Солженицына слышатся отзвуки Толстого и другого русского писателя, философом которого он является, человека, который за 100 лет до Солженицына был таким же ясновидцем человеческой души...»

«Sunday Telegraph»

7.III.1976

Дж. Темсон

«...(Солженицын) человек, испытывавший муки ада и чудесно спасен-

ный, сумел выкристаллизовать те смутные опасения, которые в глубине души таятся у многих.

Перед нами — четыре стороны «рамки», в которую оправлен портрет Солженицына, каким его видят западные читатели и западные зрители. Немало таких же зрителей-читателей и у нас. Сам я долгое время был в их числе.

Солженицына такое обрамление собственного портрета совершенно устраивает. Да и создано оно не без его умелого и ловкого участия. Портрет, вставленный в такую рамку, есть автопортрет, в значительной степени произведение, так сказать, художественного вымысла.

Каково же истинное лицо этого человека?

Лет семь назад я стал задавать себе этот вопрос, сначала робко, с боязнью и внутренним негодованием на себя, но постепенно, по мере того, как копились факты, питавшие мои сомнения, он все настойчивее сверлил в мозгу, пока не заставил меня заняться настоящим исследованием этой личности. Против ожидания работа не оказалась непреодолимо трудной. Материалов для такого «исследования» вокруг сколько угодно, и главную их часть поставлял сам объект изучения: своей жизнью, своими поступками, словами и особенно книгами. В жизни Солженицына порядочно наблюдал за собой, и за ним остались люди, знавшие и помнившие эти «следы». Сам же он, по мере того, как крепло в нем самообольщение и уверенность в собственной абсолютной непогрешимости, стал публично выдавать такие материалы, которые начали рисовать его с совершенно неожиданной для нас, его почитателей, стороны, крайне невыгодной ему самому.

Оказалось, что увидеть все до смешного просто — достаточно только снять очки с поляризационным фильтром и взглянуть на наше «божество» невооруженным глазом. И тогда многое, совершенно нечаянное, открывалось изумленным глазам...

Помнится, как-то раз Елизавета Денисовна показала мне толстую машинописную книгу в красном дерматиновом переплете. На ти-

тульном листе имя автора названо не было, стояло только одно заглавие книги: «Читают «Один день Ивана Денисовича». И более ничего. Книга начиналась вступительным текстом, занявшим несколько страниц и содержавшим похвалу автору «Одного дня» в самых высоких, превосходных степенях. Далее шли документы, относящиеся к критике этой книги, как положительной, так и отрицательной. Перепечатаны были хвалебные рецензии первых дней, появившиеся тогда в центральных газетах, затем многочисленные письма читателей, большинство восторженных, затем были также и ругательные статьи, появившиеся позже, и несколько такого же содержания писем...

Но главным в книге были не документы, а тот вступительный текст, который предварял перепечатку этих материалов, и некоторые комментарии. Все эти безымянные тексты оказались составленными гладким и безличным литературным языком. В них содержалось безудержное, преувеличенное восхваление Солженицына, превозношение его как писателя и как бесстрашного человека, не сгибающегося и не сдающегося, несмотря на поднятую вокруг него травлю и свистопляску недругов.

Естественно, у меня возник вопрос: кто же автор этих текстов? Спросил об этом Елизавету Денисовну. Она молчит. Немного как бы жметя...

— Нельзя говорить, кто автор? Кто писал этот текст? Вы писали? — приступал я с расспросами.

— Не-ет, не я... Вам, пожалуй, можно сказать... Сам же он и писал... — негромко, без обычной твердой решительности ответила Вороньянская.

Я стоял огорошенный. Молча обдумывал такую неожиданную новость. Потом заговорил:

— Как сам? Неужели он сам про себя в таких выражениях и в таком тоне написал? Как это возможно?

— Ну, а что тут особенного? — вопросом ответила Елизавета Денисовна. Она уже овладела собой и решила перейти в наступление, памятуя, что это лучший способ обо-

роны. — Ждать, пока другие напишут? Так ведь у него нет времени ждать, борьба идет сейчас, ждать некогда. А что, тут неправда написана про него? Разве он не такой на самом деле? Вы несогласны с этими оценками?

— Да-а, в общем-то согласен... — тяну я, — только как-то странно это, впервые сталкиваюсь с таким делом... человек сам про себя пишет в таких выражениях... Нескромно это, Елизавета Денисовна! — заключил я наконец более решительно.

— Как вы не понимаете! — с жаром воскликнула она. — Идет борьба, его хотят забить, заколотить и не стесняются в средствах! Он имеет право тоже выбирать любые средства защиты, которые сочтет нужными. Это не самореклама, а самозащита!

Вот так подвела итог того разговора Елизавета Денисовна, самая беззаветная защитница А. И.

Много пищи для размышлений дал мне тогда этот случай.

Своей выходкой я подорвал несколько доверие к себе в глазах Елизаветы Денисовны. Это выразилось в том, что она не дала мне на хранение ту книгу в красном переплете и вообще никогда больше ее мне не показывала и не говорила о ней.

С тех пор прошло много лет. Произошли многие события, вместе с которыми открылось столько нового, ранее неизвестного. Через мои руки прошло также немало новых документов, принесших столь неожиданную информацию, что оставаться в плену прежних представлений о Солженицыне я уже не смог бы, даже если бы и очень хотел. Факты — упрямая вещь, спорить с ними бессмысленно, им приходится подчиняться.

В биографии Солженицына есть темные пятна. Он отчетливо понимает их значение, и они его беспокоят. Он предпринимает усилия забелить их. Но не только забелить, но и заставить их служить ему, помогать достижению той главной цели, которую он поставил перед собой в жизни, — его личному возвращению.

Делая признания в некрасивых и

даже просто мерзких поступках, он или находит им объективные оправдания, или взывает к милосердию читателя, растроганного предыдущими описаниями. Либо, наконец, рисуется своим бесстрашием и приверженностью «великой традиции русского покаяния». При этом Солженицын, кажется, уверен, что не найдется человека, способного возразить ему по существу. Он убежден, что большинство промолчит из-за незнания фактической обстановки (не все же сидели!). Другие, знающие, промолчат из пиетета. Третьих уже просто нет. Но не все еще «ушли», и не все сохранили ту всепрощающую почтительность, которая так необходима для скромного молчания даже тогда, когда можно возразить и решительно не согласиться.

Вот одна из подобных ситуаций.

Солженицын рассказывает о вербовке его в лагерные осведомители — «стукачи».

«В этой главе не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают мне лагерники, как их вербовали. Расскажу же о себе».

Когда я первый раз прочитал этот отрывок еще в том злополучном машинописном экземпляре, который у меня был изъят, я загорелся: вот-вот, сейчас будет рассказ о том, как блестяще Солженицын «отбрил» оперуполномоченного, как послал он его туда, куда мы сами друг друга посылали так часто, как он подвергся потом гонениям и преследованиям мстительного чекиста за свою твердость и мужество.

Я читаю его рассказ о вызове к лагерному оперуполномоченному в том небольшом лагерьке, который был тогда в самом сердце Москвы, на тогдашней Калужской. Полное драматизма и напряженности описание обстановки «беседы» под тихо струящуюся музыку включенного трофейного «Филипса». Переживания самого автора, поведение хозяина кабинета — оперуполномоченного — захватывают читателя, обращают все симпатии на беззащитного «зека» — автора тех строк. Но следует совсем неожиданный финал.

После угрозы оперуполномочен-

ного «загнать» в северные лагеря Солженицын думает: «Страшно-то как: зима, вьюги да ехать в Заполярье. А тут я устроен, спать сухо, тепло и белье даже. В Москве ко мне жена приходит на свидания, носит передачи... Куда ехать, зачем ехать, если можно остаться?»

Следует рассказ о «томлении духа» и... буквально непостижимом решении — купить себе временное и относительное благополучие прямым предательством.

Позволю себе напомнить некоторые, может быть, неизвестные современному читателю, но стопроцентно ясные для тех, кому в 1946 году было более пятнадцати-шестнадцати лет, детали времени.

Став осведомителем, человек утрачивал последние остатки личной свободы, своего «я». Его показаний было достаточно, чтобы любого начали считать подозрительным, лишали доверия, выдернули оттуда, где «спать сухо, тепло и белье даже», где жены приходят на свидания и носят передачи...

Лагерное начальство знало, как нелегко завербовать в осведомители человека с совестью и честью. Может быть, поэтому вербовка Солженицына последовала только после его пресловутого «Заявления»?

Так или иначе, она состоялась. Испугавшись «зимы, вьюг, Заполярья», Солженицын идет на то, о чем сам он рассказал: на подписание обязательства доносить и на выбор стукаческой клички «Ветров».

Мне доводилось слышать споры, был ли Солженицын осведомителем лагерной администрации или ему и вправду удалось перехитрить всех и не сделать ни одного доноса.

К этому вопросу мы еще вернемся, но уместно подумать и о другом. Допустим, произошло чудо и Солженицын никого не заложил. Но кто мог гарантировать под музыку трофейного «Филипса», что завтра же Солженицыну не придется «стучать» на лучшего друга или «продавать» собственную жену? Что опер и все его начальники окажутся полными лопухами, что будут нарушены все правила и

инструкции только для того, чтобы Ветров остался чист?

Никто, конечно.

Однако вот что любопытно. Рассказ этот воспринимается по-разному. Люди, безоговорочно верящие Солженицыну и знающие лагерный мир только с его слов, даже не чувствуют вины Александра Исаевича. Старые лагерники видят тут другое. Их поражает легкость сдачи человека, который потом, годы спустя, задним числом, делает заявку на необыкновенное героство.

То, что рассказано дальше, уже совсем не принимается лагерным умом, отвергается им как нечто вовсе несообразное.

«В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже... Но что-то мне помогло удержаться... (Ветров, по-видимому, знал, давая подписку, что обязательно объявится этакое «что-то»). При встрече Сенин (лагерный надзиратель, резидент оперуполномоченного ГБ. — **Наше примечание**) понукал: Ну? Ну? Я разводил руками: ничего не слышал... А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу больше не пришлось подписаться «Ветров».

Этот рассказ, конечно, рассчитан на людей совершенно несведущих — таких большинство среди читателей, и с годами их число будет все увеличиваться. Но мы, обломанные лагерями старые «зеки», твердо знаем: такое было невозможно! Нельзя поверить, чтобы, дав подписку «стучать», от опера можно было так легко отделаться? Переводом на привилегированное положение в особый, да еще и сверхсекретный лагерь! Кому он это рассказывает? Заявляю: подобная нелепость была совершенно невозможна, она находится в вопиющем противоречии с незыблемым лагерным законом — «зеку» не спускается даром ничего, никакое малое нарушение. Как же могло пройти ненаказанным такое ужасное преступление, как вероломство с подпиской на стукачество? Да какой же опер мог допустить такой «брак» в работе? Он подчиненное и подотчетное лицо, его проверяют. К чему подставлять

свою собственную шею за этого мерзавца? Никогда такого не было и не могло быть. А что касается «мер воздействия» на нерадивого, то это пожалуйста, сколько угодно, хоть и до второго срока под любым предлогом.

Рассказ Солженицына поражает уж не своей несообразностью, а наивностью автора в том, что он серьезно думает кого-нибудь обмануть такой «байкой».

Как же технически осуществлялся перевод заключенного из лагеря в лагерь по так называемому «спецнаряду»? Этот документ о переводе — спецнаряд — приходит из Управления лагерей и поступает к начальнику местного лагеря. Но никак не минует и оперуполномоченного, без визы которого в действие приведен быть не может. Характеристику на переводимого пишет он же. С плохой характеристикой нельзя переводить заключенного в привилегированный лагерь. А хорошую характеристику на взявшего обязательства и кличку получившего, а потом нагло уклонившегося от этого дела какой оперуполномоченный напишет? Где найдется такой дурак?

Вот и получается, что перевели Солженицына в шарашку только потому, что оперуполномоченный написал нужную характеристику, дал «добро» на перевод. Не надо больше разжевывать, чтобы объяснить, что означало такое «добро» в той ситуации, которую так неосторожно рассказал сам Солженицын.

Но это еще не все. Ведь письменное обязательство «стучать» не пропадает бесследно. Оно вшивается в «дело» заключенного и следует за ним всюду, куда бы тот ни попал. Эта каинова печать прилеплена к нему на веки вечные. И, прибыв на шарашку, он непременно попадает в цепкие лапы теперь уж другого опера. Даже если допустить, что в прежнем лагере на Калужской Солженицыну и удалось совершенно безнаказанно «отвертеться» от тамошнего опера (а это совершенно невероятно!) и тем не менее попасть на шарашку, то уж там-то с такой бумагой, подшитой в его личном деле, он никак не мог избежать специального внимания.

О том, как на шарашке Солженицын «сумел» уклониться от своей новой службы, мы, к сожалению, не знаем. Об этом он почему-то в «Архипелаге» не распространился...

Вернемся-ка к началу нашего рассказа об этом скользком эпизоде жизни Александра Исаевича. Вот он сказал:

«Что-то неохотно рассказывают мне лагерники, как их вербовали».

Сказал и не подумал, что он ведь плюнул в лицо тысячам и тысячам честных старых лагерников! «Неохотно рассказывают» — это, значит, боятся, не хотят рассказывать? Значит, у них совесть нечиста? То же, значит, давали подписку и «стучали»? Так, что ли? По Солженицыну выходит — только так.

А спрашивал ли он? Много ли он об этом спрашивал старых лагерников, с которыми беседовал? Мне так думается, что он их совсем не спрашивал о том, как их вербовали и вербовали ли их вообще, потому что ему неприятно было бы услышать рассказы о том, как люди устаивали, не сдавались, оставались чистыми на весь лагерный срок, не боялись преследований лагерного начальства.

Вот мне он не задал такого вопроса. Спросил о власящине, о пополнениях в воркутинских лагерях летом 1953 года, а вот о том, вербовали ли меня и как это было, не спросил. Постеснялся, может быть. А может, не хотелось? Напрасно. Кое-что, не лишнее для него интереса, услышал бы.

Не знаю только, устроил ли бы Александра Исаевича мой рассказ. Ведь он прямое доказательство невозможности версии автора «Архипелага». Я тоже был отобран для «спецнаряда», т. е. перевода в таинственную «шарашку». Работал я тогда в т. н. геотехнической конторе, и мой начальник профессор Баженов — тоже заключенный — давал уже напутствия, кому кланяться от его имени в Останкино (именно там находилась «марфинская» шарашка). Словом, все было готово для того, чтобы нам с А. И. познакомиться на двадцать лет раньше...

Но путь на завидный этап лежал через кабинет старшего лейтенанта Воробьева — оперативного уполномо-

моченного. Я получил предложение о сотрудничестве и, несмотря на угрозы, длившиеся целый день, отверг его. (Заполярья я не боялся, поскольку и без этого уже находился в нем!) В результате я никуда не уехал, вскоре вылетел из моей благополучной научной конторы, да не куда-нибудь, а в подземелье, в шахту при каторжанском лагере, и почти до самого конца срока, добрых семь лет, ощущал чью-то «заботливую руку».

Десятки подобных же лагерных судеб могу рассказать. Но ни разу не слышал, чтобы «саботажников» и «дезертиров» (а именно таким должен был выглядеть А. И. в глазах начальства) поощряли переводом на «крайние острова».

Я недолго оставался одиноким в своих подозрениях. И попал в компанию, которой, признаюсь прямо, горжусь. В руках у меня статья 90-летнего М. Якубовича, одного из 227 «соавторов» Солженицына по «Архипелагу», написанного в этой книге на целых восьми страницах. М. Якубович — правнук декабриста А. Якубовича, видный меньшевик, один из главных обвиняемых нашумевшего в 1930 году процесса по делу так называемого Союзного Бюро Меншевиков.

Статья названа «Постскрипtum к «Архипелагу», и вот что там, между прочим, написал этот «старейшина корпуса диссидентов» — пусть уж извинит он мне такую игривость: «Если бы это сообщение исходило не от самого Солженицына, я бы, пожалуй, этому и не поверил. Как же человек, претендующий на роль пророка, «глаголом жгущего сердца людей», и вдруг... секретный осведомитель органов ГПУ! Того самого ГПУ, которое он всячески поносит в «Архипелаге»! Несовместимо...

Уверения Солженицына, что работники «органов», не получая от «Ветрова» обещанной информации, добродушно с этим примирились и, мало того, послали этого обманщика на работу в спецлагерь с несравненно лучшими условиями, — такая нелепица».

Якубович дает ответ и на другой, занимавший и меня вопрос: для чего понадобилось Солженицыну это полусаморазоблачение?

«Мне кажется, что это психологически объяснимо. Покрытый на Западе славой неустрашимого борца против «варварского коммунизма», сидя на мешке золота... Александр Солженицын все-таки не знает покоя. Его, несомненно, обуревают страх, и «мальчики кровавые» ему мерещатся — те самые мальчики, на которых он доносил. А вдруг КГБ выступит с разоблачениями и опубликует во всемирное сведение тайну «Ветрова» — каков будет удар для нравственной репутации «пророка» и лауреата? Так не лучше ли упредить, перехватить, подать разоблачение в своей версии, в своей интерпретации? Его логика проста: да, я был секретным осведомителем, но в действительности я никаких доносов ни на кого не делал. Мне «удалось» избежать выполнения принятых обязательств, и доказательством этого как раз и является мое выступление с саморазоблачением.

Такова, на мой взгляд, психологическая причина саморазоблачения Солженицына».

Вот мнение старого лагерника, чей срок заключения измерялся не годами, как мой, а десятилетиями, а жизненный опыт пропорционален возрасту!

Л. А. САМУТИН

(Продолжение следует)

НАШЕ ВРЕМЯ — время безудержных надежд и горьких разочарований. Оно сбрасывает с пьедесталов недавних идолов и до небес возносит новых, часто еще вчера столь же безоговорочно гонимых и официальной пропагандой, и общественным мнением. Один из переживших подобную метаморфозу — Солженицын. Совсем недавно символ злобной антисоветчины, стал этот писатель ныне едва ли не самым читаемым и чтимым из современников в советском обществе. Журналы с солженицынскими произведениями нарасхват, «Новому миру», напечатавшему в прошлом году «Архипелаг ГУЛАГ», не хватает бумаги для удовлетворения всех подписчиков, желающих и в нынешнем читать Солженицына, издательство «Советский писатель» срочно готовит к выпуску в свет сочинения этого литератора. Похоже, послеоктябрьскую историю нашей Родины многие теперь представляют «по Солженицыну».

Но крайности всегда порочны. И пьедесталы в нашей общественной жизни, как показывают события последних лет, на удивление и до неприличия шатки. И потому, прежде чем громоздить новый, столь важно всмотреться: кого теперь-то возносим над собственными головами? Мы предлагаем читателям журнала вместе с нами попристальнее взглянуть — что за фигура Солженицын, каково нравственное лицо этого сегодняшнего властителя миллионов людских душ? С этой целью редакция решила начать публикацию рукописи книги недавно умершего Л. А. Самутина «Не сотвори кумира». Полагаем, автор, близко знавший Александра Исаевича, беспристрастен в оценках. Бывший власовец, честно отсидевший после войны свой срок в воркутинском лагере, диссидент, он, по сути, был соавтором некоторых страниц «Архипелага ГУЛАГ». В семидесятые годы по просьбе Солженицына прятал у себя рукопись от КГБ. Понятное дело, случайным людям такое не поручают. Поэтому не доверять его оценкам и выводам оснований вроде бы нет. К тому же вряд ли можно заподозрить Самутина в желании понравиться Советской власти, против которой он долгие годы боролся вполне сознательно. Ведь за перо он взялся на склоне лет, когда, как говорится, впору было думать о душе.

Быть может, кто-то из наиболее ярых и некритичных приверженцев творчества Солженицына, прочитав публикуемый отрывок из книги Самутина, поспешит обвинить нас в попытке скомпрометировать Александра Исаевича. Не торопитесь. Дочитайте до конца. Рукопись объемная, и публиковать ее с небольшими сокращениями мы будем долго.

Публикация капитана 2 ранга С. Г. ИЩЕНКО

НЕ СОТВОРИ КУМИРА

Я СТАЛ диссидентом, как принято говорить, лет за сорок до того, как это, скажем прямо, не очень точное словечко вошло в обиход. И остался тем самым «горбатым», которого исправит только могилка: хотя годы и события многому научили меня, продолжаю исповедовать свои собственные взгляды на некоторые вопросы жизни, политики, истории.

Но я сел за машинку вовсе не для того, чтобы отстаивать их или полемизировать с теми, кто мыслит не так, как я. Мне хочется просто рассказать снисходительному читателю историю двух поворотных пунктов моей жизни, двух кардинальных разочарований.

Мой диссидентский счет не мал. В годы войны судьба сложилась так, что я оказался на посту редактора одной из газет, издававшихся власовским пропагандистским аппаратом для власовских солдат и офицеров. Закономерным продолжением этой «карьеры» были десять лет лагерей...

Несколько лет хранил я в глубокой тайне рукопись книги с авторскими правками на полях и между строчек. Человек, написавший книгу, мелким, почти бисерным почерком внес в машинописный текст свои поправки, изменения и дополнения. С ним судьба познакомила меня за девять лет до описываемых событий. При обстоятельствах, о которых пойдет речь ниже, рукопись исчезла.

И вот сейчас эта книга снова лежит предо мной — на этот раз уже в напечатанном виде. Парижское издательство издало ее тремя пухлыми томами, напечатав на толстой, ярко-белой бумаге с глянцевыми, красочными обложками. Авторское предуведомление к книге звучит как великопостный колокол: «Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед еще живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность все равно взяла эту книгу, мне ничего не остается, как немедленно опубликовать ее.

А. Солженицын.
Сентябрь, 1973»

Эта книга — «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. И рукопись именно этой книги взяла у меня госбезопасность в ночь с 29 на 30 августа 1973 года.

Когда-нибудь историки литературы будут копаться в архивах, отыскивая детали ушедших событий, что сопровождали появление на свет «Архипелага». Сам автор прямо связывает свое решение о его публикации с изъятием экземпляра рукописи госбезопасностью.

Мне же сейчас, пока рука водит пером и память не ослабла, внутренний голос говорит о необходимости переложить все на бумагу так, как это произошло, чтобы толки и слухи не исказили действительность до неузнаваемости.

Действующих лиц истории хранения рукописи «Архипелага» было двое в Ленинграде — Елизавета Денисовна Воронянская и я. Елизавета Денисовна работала машинисткой, много печатала Солженицыну, выполняла многие его поручения и просьбы. Причем делала все совершенно бескорыстно, из одной беспредельной преданности, доходившей до полного самопожертвования. Воронянская печатала и рукопись «Архипелага».

Познакомил меня с ней сам Солженицын, когда ранней весной 1968 года мы встретились в Ленинграде. Я приехал туда из Воркуты, он — из Рязани. Целью встреч была передача мною Солженицыну материалов, нужных ему для литературной работы, как выяснилось потом — для его книги «Архипелаг ГУЛАГ». Воронянская оказалась очень интересным, литературно широко образованным человеком, полностью разделяла взгляды и Солженицына, и мои, и мне с ней было легко, свободно и занимательно. У нас возникла хорошая, большая, доверительная дружба.

Летом 1969 года Елизавета Денисовна дала мне рукопись «Архипелага» сначала прочитать, сопроводив всевозможными наставлениями о соблюдении строжайшей секретности и осторожности, а потом обратилась с просьбой взять рукопись на хранение. При этом сказала, что с автором согласовано, он не воз-

ражает, чтобы рукопись хранилась у меня.

О существовании «Архипелага ГУЛАГ» к тому времени я уже знал от самого Солженицына. Мне показалось чрезвычайно лестным выполнить это поручение, и я согласился. Сознание, что в хранении такой крамольной рукописи заключалась реальная опасность, меня не остановило. В жизни мне пришлось подвергнуться столько раз всякого рода напастям, что притупилось чувство боязни. И поэтому целых четыре года я был хранителем этой литературной сверхбомбы.

Я хранил верность Солженицыну до той ночи, когда у меня на даче был изъят его архив. Впрочем, к тому моменту я уже достаточно разочаровался в Александре Исаевиче. Есть смысл начать мои записки именно с тех дней.

Глава первая

Кажется, только вчера, 28 августа 1973 года я с семьей вернулся с дачи. Детям предстояло идти в школу, у жены заканчивался отпуск, мы предполагали провести оставшиеся до 1 сентября дни в последних летних хлопотах. Но все вышло иначе. Вечером к нам пришла дальняя родственница нашего большого друга Елизаветы Денисовны и сообщила, что Воронянской, увы, уже нет в живых. Похороны — послезавтра. На все вопросы: где, когда, по какой причине и т. д., эта женщина давала один ответ:

— Ничего не знаю.

Единственное, что удалось выжать из нее, это что смерть произошла несколько дней назад, но тело находилось в морге, потому что шло следствие. Почему оно назначено, кто его вел, каковы результаты? Все оставалось неизвестным. Ясно было лишь, раз тело выдано для погребения — это означает конец следствия.

Весь вечер и все следующее утро мы с женой потратили на то, чтобы хоть что-то выяснить. Но никто, решительно никто из наших общих знакомых не мог дать нам хотя бы самой скудной информации. Удалось, правда, выяснить, что Воро-

нянская вернулась из Крыма, где она отдыхала, в первых числах месяца. С той поры она по каким-то непонятым причинам никому не звонила, никого не навестила. Мы с женой были более всего удивлены тем, что Елизавета Денисовна не приехала к нам на дачу. Обычно она была у нас самой частой гостьей, приезжала запросто, без приглашений и предупреждений.

Но как бы непонятно и печально все это ни было, жизнь есть жизнь. Утром мне пришлось поехать в поликлинику. Ее здание совсем близко от автобусной остановки. Нужно лишь перейти на другую сторону улицы. Здесь ни светофора, ни пешеходной дорожки и обычно очень сильное движение. Но в этот раз повезло. Ни одной машины. Я шагнул на мостовую и вдруг услышал негромкий оклик:

— Леонид Александрович!

Оборачиваюсь, вижу незнакомого молодого человека. Он вынул из внутреннего кармана пиджака удостоверение в темно-красной обложке и показал мне.

— Я из Комитета государственной безопасности. Прошу Вас, Леонид Александрович, в машину. Вас ждут.

У тротуара прижалась серая «Волга». Откуда она взялась? Секунду назад улица была пуста.

«Берут, — пронеслось в голове. — Нет. Уже взяли».

Молча шагнул к машине. Дверь любезно приоткрылась, и я опустился на заднее сиденье. Мой похититель сел рядом с шофером, и «Волга» рванулась с места.

Итак, взяли. Дома уже, наверное, обыск в полном разгаре. Жена потеряла от ужаса дар речи. Дети... Лучше и не думать о том, что происходит с детьми.

Машина свернула на круглую площадь и, огибая ее, проехала мимо нашей улицы. Значит, меня везут не домой. Куда бы то ни было — это хорошо... Дети не увидят уничтоженного, раздавленного отца. А я... Когда-то теперь увижу дочь и сына! Но права на сочувствие к самому себе у меня нет. Знал, на что шел. Точно так же, как и тогда. Но четверть века назад меня не волновали заботы о жене и детях.

Впрочем, все это лирика. А нужно спокойно и трезво подумать, что может мне грозить, как будет звучать формула обвинения, что они знают?

Легче всего заняться самообманом, гордо и непримиримо доказывать самому себе, что, мол, ничего страшного за тобой нет. Ну, хранил какие-то бумаги, иногда участвовал в их обсуждении, высказывал крамольные, с точки зрения властей, мысли. Но, помилуйте, никаких активных действий, никакой практической деятельности. Будь я следователем по делу Леонида Александровича Самутина, я так бы и рассудил и написал бы постановление об освобождении из-под стражи за отсутствием состава преступления. Но такая позиция хороша перед женой или друзьями. А что касается властей, жизнь давно научила меня — нужно рассчитывать на самые худшие варианты. Они могут выглядеть так: группа антисоветски настроенных граждан систематически занималась изготовлением и распространением материалов, направленных на подрыв существующего строя. Часть этих материалов размножалась машинописным путем, часть нелегально отправлялась за рубеж, издавалась там и оплачивалась валютой, которая опять-таки, проходя через руки членов упомянутой группы, попадала затем к авторам. В свое время Александр Исаевич Солженицын получил восемь лет лагерей за намерение создать нелегальную группу. Намерение неосуществленное. А тут — налицо вещественные доказательства. Представляю себе, что могли найти в комнате Елизаветы Денисовны. Думаю о том, насколько эти находки прольют свет на мои отношения с группой.

Пока что все абсолютно неясно, и будет выявляться крупница по крупнице в ходе следствия. Нельзя же представить, что покойная перед смертью оставила специально для КГБ обстоятельное письмо, где сообщила бы, что весь объемистый архив хранится у некоего Самутина... Впрочем, все эти бумаги найдут и так. При первом же обыске. И я никак не смогу объяснить, откуда они взялись, не упоминая о Елизавете Денисовне.

И вдруг острая и запоздалая догадка. Записная книжка — при мне. Там десятки фамилий и телефонов. Все это «связи». Сколько же людей потяну я за собой, если не в яму, то на край ее! Ведь по каждому имени и телефону будут расспрашивать. Но книжку незаметно не выбросишь и не растворишь во рту как таблетку.

Машина сворачивает с Литейного и останавливается у дома, сотни раз проходя мимо которого я читал вывеску «Бюро пропусков». Однако меня просят пройти за угол и войти в другие двери. Дежурный милиционер даже не взглянул на меня. За дверью оказывается мрачная комната: единственное окно почти упирается в стену соседнего дома. Два стола — письменный и маленький квадратный, тумбочка с двумя телефонами. Позади кресло, что стоит у письменного стола, еще одна дверь. «Шмональная камера?» — как это называется на лагерном жаргоне. Впрочем, не похоже. Дверь, наверное, ведет в подвал. Туда сейчас придется проследовать. Молчу, не задаю никаких вопросов. Знаю, что никакого ответа все равно не получу. Не хочу унижаться. Пусть пропускают через свою чертову мельницу, судьба моя все равно давно решена, днем раньше, днем позже — какая разница?

* * *

Вручая мне документы об освобождении весной 1955 года, лагерный офицер сказал:

— Только никаких «до свидания». Самое искреннее пожелание, чтобы никогда не встречаться.

Я оказался на свободе. Не в качестве реабилитированного, невинно осужденного в свое время, не как амнистированный, а просто отсидев «от звонка до звонка» свои десять лет, полученные за измену Родине в военное время и службу сначала у немцев в различных «национальных» формированиях, а затем в «русской освободительной армии» генерала Власова. Что ожидало меня впереди? Еще в лагере, в грустную минуту мой товарищ по беде сказал как-то:

— А если и доживем до свобо-

ды, что делать будем? Пирожками торговать? Куда нас еще возьмут?

Но и мой товарищ, и я, полностью разделявший этот мрачный прогноз, ошиблись. Я, пользуясь модным ныне словечком, быстро «интегрировался» в обычной, как у миллионов людей, жизни. У меня была прекрасная работа, и я благополучно вышел на пенсию по старости, получив ее в положенный срок и в максимальном размере. И мой товарищ тоже сразу нашел работу по профессии и проработал свои 15 лет до пенсии сначала инженером-конструктором, а потом — начальником конструкторского отдела завода. Не пришлось нам пирожками торговать...

Я не могу пожаловаться на свою квартиру в Ленинграде и на дачу в Чаще, километрах в ста от великого города.

По понятным причинам я не афишировал своего прошлого. Да никто о нем и не спрашивал. Ленинград — не село, где жизнь и прошлое каждого на виду у всех. Словом, я был в глазах окружающих человеком вполне респектабельным, лояльным.

Никто и подумать не мог, что есть у меня вторая жизнь. За десятилетия до того, как распространилось словечко «диссидент», у меня сложились свои собственные взгляды на все, что происходит вокруг. Мне не нравился Советская власть и советский образ жизни. Ни моя служба у немцев, ни десять лет в лагерях Воркуты появлению симпатий к ним, конечно, не содействовали. Но после выхода из лагеря я постарался запрячь свои чувства достаточно глубоко и помалкивал. Во всяком случае самый строгий следователь не нашел бы в моем поведении в первые годы после освобождения никакой крамолы.

Перелом случился, когда в журнале «Новый мир» я прочитал повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Нет, конечно, я не нашел для себя в этой повести чего-то нового. Мне-то сразу было видно, что повидал я куда побольше, чем автор. Да и в официальных речах и в тех воспоминаниях, что появлялись еще до или почти одновременно с повестью, было

сказано ничуть не меньше. Не пришел я в восторг и от художественных качеств этого произведения. Для тех, кто не хлебал лагерной баланды, язык этой книги казался откровением. Нам же, бывлым лагерникам, он был хорошо известен. Что касается характеров — они (как, впрочем, во всех вещах Солженицына) только фишки на схеме, покорно иллюстрирующие замысел литератора. Меня взволновало в этой повести совсем другое.

Читатель, который не прошел через лагерь, рисовал себе Солженицына в первую очередь мучеником, которому многое прощается. Он, неискушенный читатель, не мог, да и не хотел увидеть, каковы на самом деле взгляды автора на государство, на народ, на товарищей по несчастью. А мне, знавшему жизнь и описываемых людей не хуже, чем знал Солженицын, по десяткам малюток говоривших посторонним деталям было ясно, что у этого человека на уме.

Все годы, прошедшие после освобождения, я не искал единомышленников, но тосковал по ним. А тут он сам словно вошел в мой дом, и будто глаза его без слов сказали мне:

— Мы из одного теста, Леонид. Я так же, как и ты, недоволен этой страной. И теми, кто ей управляет, и теми, кто позволяет управлять собой.

Я стал искать случай познакомиться с Солженицыным, и это мне удалось. Потом, это случилось как-то естественно, узнавал больше и больше о его делах и планах, принимал их все ближе к сердцу. Идея ищет персонификации в какой-либо, чем крупнее, тем лучше, единой фигуре. Ею для меня стал Солженицын. Еще крепче связала нас покойница Вороньянская. Я знал, что у нее с А. И. — так называли мы его в своем кругу — отношения особые, очень тесные. Она выполняла все его поручения, вплоть до самых деликатных, готова была за него идти в огонь и в воду. Мнение Александра Исаевича было для нее высшим мерилом и в политике, и в морали, и в отношении к людям.

Меня не удивило, когда Елизавета Денисовна попросила меня пре-

доставить в ее распоряжение «заборонку» (это было словечко Солженицына) в Чаше, на моей даче, для хранения своего архива. Так стали копиться у меня и материалы самого Солженицына, и «самиздатовские» рукописи, и неизвестными мне путями прибывавшая с Запада литература. Однажды Елизавета Денисовна вручила мне пухлую стопу листов — рукопись «Архипелага ГУЛАГ». Я уже слышал об этой работе от самого Солженицына, знал, что Солженицын пишет историю лагерей, и сам дал ему свой материал. Я перечитал будущую книгу от корки до корки.

Несколько дней спустя мы сидели у меня дома за чаем. Дождавшись, когда жена вышла на кухню, Елизавета Денисовна патетически воскликнула:

— Вы понимаете, что если эта рукопись станет известна — погибнут сотни людей?!

— Почему? — удивился я.

— Там записаны рассказы бывших «зек»». Каждому из них грозит гибель.

Я попытался успокоить разволнованную гостью, объяснить ей, что коль скоро эти рассказы анонимны за немногими исключениями, то рассказчиком ничего не может угрожать. Тем более что, как правило, в этой книге нет свидетелей. Вся информация идет из вторых или третьих рук. Это лишает ее доказательного значения (что плохо!), зато и не налагает на пересказчиков никакой ответственности (что хорошо!).

— Вот автору за слишком вольное обращение с фактами, да нам с вами за помощь ему, конечно, дадут по мозгам...

С таким же успехом я мог бы доказать что-нибудь бронзовому памятнику Екатерины Второй.

— Вы не понимаете, — лицо Елизаветы Денисовны искривила гримаса страдания, — А. И. считает так. А он знает...

Я пробормотал нечто вроде того, что, мол, наши головы мне тоже достаточно дороги, и поэтому я, конечно, приму все меры. Какие — я и сам не знал, но на Елизавету Денисовну это подействовало.

— Вот и хорошо, — удовлетво-

ренно произнесла она. — Слава богу, вы признали, что ОН прав.

* * *

Легонько стукнула наружная дверь, открылась внутренняя, и в комнату вошли один за другим два осанистых пожилых человека в добротных костюмах. Оба в очках. Старший сел за письменный стол, второй устроился у маленького. Я чувствовал, как недобро смотрят из-за темных стекол на меня его колючие глаза.

Оба вошедших оказались в одинаковом звании. Полковники. Старший представился Николаем Семеновичем и представил второго — Петр Иванович. Сразу же перешел к делу.

— Нам доподлинно известно — подчеркиваю, доподлинно, что у вас хранится ряд книг и рукописей Солженицына. Так или нет?

— Что отвечать? Сказать, что не вижу в этом преступления?

— Что это даст? Отрицать? Бесмысленно. Все равно найдут.

— Впрочем, вы можете не отвечать, — подсказывает полковник. — Я просто ставлю вас в известность о том, что мы точно знаем, какие именно материалы находятся у вас.

Он вынимает из кармана листок и перечисляет. Все точно, кроме одной рукописи, в листке не значащейся — «Архипа»! Видимо, у покойницы Воронянской нашли список или что-нибудь в этом роде.

— Может быть, я что-то пропустил? — любезно спрашивает Николай Семенович.

— Ну-у, есть еще кое-какие самиздатовские рукописи, — мямлю я.

Если они так осведомлены, то почему просто не нагрянули с обыском? Что тут за игра?

— Нет, — слышу голос Николая Семеновича. — Не кое-какие материалы, а вполне определенные.

Он делает паузу и добавляет:

— «Архипелаг ГУЛАГ», или, как вы его называете, «Архип».

Я продолжал молчать.

Мой собеседник явно чувствует, что я опасаясь «хода» с его стороны. И спокойно, даже, кажется, чуть улыбнувшись, называет дату вручения мне рукописи. Больше того, он называет те самые дни (это было дважды), когда я по просьбе

Елизаветы Денисовны на время возвращал ей «Архипа»: видимо, она давала ее кому-то на прочтение.

— Перейдем к сути дела, — продолжал Николай Семенович. — Вот два ордера. Один на производство обыска у вас на квартире. Другой — на даче. Бригады для обысков уже готовы и ожидают распоряжения. Вы сами понимаете, коль скоро мы не знаем, где нужно искать, то не остановимся, пока не найдем. Но есть ли смысл усложнять все это? Вы представляете, что при этом не избежать определенной нервной травмы и вашей жене, и вашим детям? Особено детям. Поэтому не лучше ли все упростить. Вы добровольно отдаете нам все перечисленное, в том числе и «Архипелаг». А мы воздерживаемся от обысков.

Провал полный. Можно считать, что рукописи и книги Солженицына у них в руках. Это ясно. Но можно спасти некоторые материалы, которые хранятся в квартире. Это сохранит в неизвестности для них несколько имен, смягчит все происходящее для жены и детей. Придется соглашаться. Но я все-таки пытаюсь еще оттянуть время, выиграть какие-то секунды, что-то придумать...

— Значит, вам нужен архив Воронянской, — говорю я только для того, чтобы что-то сказать. И тут же чувствую: это находка!

Бедная Елизавета Денисовна! Но ей-то теперь все равно...

Полковники переглядываются.

— Ну что ж. Пусть это называется «архив Воронянской». Где он находится? В городе или в Чаше?

— В Чаше.

— Совсем хорошо. Значит, в квартиру и заглядывать не придется.

Пока вызывают машины и сопровождающих, я лихорадочно соображаю, не стоит ли спросить о Воронянской? Но Николай Семенович опережает:

— Когда вы узнали о смерти Воронянской?

«Можно подумать, что он этого не знает», — усмехнулся я про себя. Наверняка эту родственницу с известием о смерти послали они. А потом ждали, что я схвачу чемодан

с крамолой и побегу перепрятывать. Тут бы меня и взяли.

— Вчера узнал, — коротко отвечаю я.

— От кого?

Я объясняю.

— А эта женщина не рассказала вам, отчего умерла Воронянская?

— Я до сих пор этого не знаю.

— Она повесилась, — тихо говорит полковник. — Была у нас, очень многое рассказала. Собственно, все рассказала. А потом ушла... И вот повесилась.

Слова полковника дошли до меня откуда-то издалека. Чувство острой жалости к Елизавете Денисовне вытеснило на время все остальные. Зачем? Зачем она сделала это?

— Мы виделись с ней за две недели до смерти, — добавляет собеседник.

Как, две недели прошло после ее допроса, и она не приехала к нам, ничего не сообщила о всех этих событиях?

Спустя всего несколько часов мы уже возвращались из Чаши. На полу машины, в ногах у молчаливого молодого чекиста, сопровождавшего нас, стоял рюкзак, где среди других папок лежала рукопись «Архипелага». Что будет с ней и теми, кто имел к ней отношение?

Я не беспокоился за судьбу многочисленных «соавторов» этой книги. О причинах этого уже упоминал. Могу добавить, что многие из приведенных там историй мне доводилось слышать в лагерях, да и не один раз, во многих вариантах. В ту пору мы обычно отмахивались от них, как отмахивается солдат в лазарете от попытки рассказать о случае, который, дескать, «был в нашем полку». Но если «просто рассказчиков» лишь не баловали вниманием, то туго приходилось тем, кто пытался выдавать себя за очевидца одного из таких эпизодов, или — еще хуже — участника-жертву. Неделями, при каждом удобном случае, издевались над ним. И это было естественно. В каждом лагере были свои жертвы и свои герои, которым платили своеобразным лагерным уважением. И любая попытка вырасти в глазах окружающих за счет старых баек вызывала неприязнь.

Конечно, никто и никогда не стал бы заниматься розысками этих безымянных деятелей тюремного творчества, создателей лагерного эпоса, перенесенного с великой тщательностью на бумагу Солженицыным. А вот мне могли грозить серьезные неприятности, что усугублялось моим прошлым. Как это ни странно, мысль о том, что пострадавшим окажусь один я, поскольку Воронянской уже никто ничего не мог сделать, меня успокоила. В конце концов никого не «заложил», уже хорошо!

Вспомнил свою собственную реакцию на эту странную книгу. Прочел первый том залпом и пришел в восторг. Не думайте, что я не заметил нелепостей и несуразностей, натяжек, искажений фактов, выдумок и тому подобного. Кому-кому, а мне-то описываемое в рукописи было достаточно знакомо. Но я пришел в веселое, если не сказать победное настроение. «Так и надо! — мысленно восклицал я тогда. — Пусть опровергают! Пусть доказывают обратное! Комочки грязи все равно присохнут! Клевета, ну и пусть! Зато вклеил А. И. им пощечину!»

Впрочем, моего энтузиазма хватило ненадолго. Быстро пришло похмелье. Сначала я подумал о многочисленных «достоверных данных», которых так много в этой книге. Боже, как они мне знакомы! Еще с тех времен, когда я занимался пропагандой во власовской армии и нас усиленно питали материалами из геббельсовского министерства пропаганды. Да и в вермахте не было батальонной библиотечки, в которой не валялись бы тощие брошюры о «большевистских зверствах». В них в разных комбинациях цитировались достижения безымянных гениев статистики, с предельной точностью знавших все о стране, где они никогда не были, ни с одним гражданином которой они не беседовали и о которой за всю жизнь не прочли ни одной путной книги. Великолепные «свидетельства жертв», которые поначалу показались мне горючим материалом, способным кое-что запалить в этой стране, теперь приводили меня в бешенство. Кто поверит в эту «туф-

ту»? Из каких шепотков на нарах, от каких жалких личностей слышал Исаич, а потом силой своего авторитета попытался возвести в ранг непреложной истины эти «открытия»?

Но, пожалуй, самое большое разочарование вызвали у меня, как это ни странно, те немногие страницы «Архипелага», где автор писал правду. Вот он на «общих работах» в сравнительно легком подмосковном лагере. Пребывание его там продолжалось три недели из восьми лет заключения. Всего три недели Александр Исаевич был как все. Впрочем, нет — в значительно лучшем положении, чем все, чем 99 процентов заключенных: с передачами, возможностью свиданий, спокойным режимом. И что же? Проклятия судьбе, мысли о смерти, ненависть ко всем окружающим... Вопли, которых никогда не слышали ни в штрафных изоляторах, ни в бараках усиленного режима, ни за Полярным кругом, ни на лесоповале — во всех тех местах, о которых Солженицын знал только понаслышке и где действительно можно было отчаяться...

А что стоило поведение героя книги на следствии? Когда я беседовал с людьми, читавшими эту главу или слышавшими ее по радио, я убедился, что никто ничего в ней не понял. Даже Н. А. Решетовская (жена А. И. Солженицына), которая не раз слышала обо всех деталях следствия от супруга и перепечатывала когда-то эту главу, даже покойная Воронянская, знавшая ее чуть ли не наизусть. Удивляться тут не приходится. Там, как говорится, «наворочено» столько, что из массы уместных и неуместных эмоций, отступлений и т. п. выделить факты невероятно трудно...

Пока я предавался воспоминаниям, машина затормозила у моего дома.

В квартире я застал жену, которая не спала, охваченная глубокой тревогой. На ее расспросы отвечал: — Чаю. Крепкого чаю.

Потом коротко, рассказал, что со мной случилось, сообщил, что нужно немедленно, во избежание худшего, уничтожить весь хранившийся дома «компромат». Выносить

нельзя, наверняка на улице стоит пост наблюдения. И оставлять нельзя, так как я не верю обещанию работников КГБ не производить обыск. Немедленно все уничтожить: книги Конквиста, Кестлера, магнитозаписи, рукописи, письма, адреса и весь архив писем Солженицына к его жене Решетовской в фотокопиях! Но печи нет, пробуем жечь в ванной на противне.

Эту затею пришлось сейчас же отменить. Жар, дым, вытяжная труба не справится с вентиляцией. Верхние соседи обязательно всполошатся, вызовут пожарных. Тогда — последний выход. В унитаз!! Но надо все резать намелко. И заработали ножницы! Забурлил унитаз!! И битых два часа непрерывного булькания и шума спускаемой воды.

С минуты на минуту ожидали рокового звонка. Но он не прозвенел. Уже засветло, в седьмом часу утра, все было кончено. Спать некогда. Начинаясь новый день. Жене — ехать на работу. Мне — кормить детей. И еще — ни жене на работе, ни мне перед детьми не показать никакого вида тревоги, озабоченности, усталости. Сохранять внешнее спокойствие и невозмутимость. Это не так легко, но нужно, обязательно нужно. И мы сохраняли это спокойствие, дожидаясь «гостей».

Однажды, в самых первых числах сентября, в половине первого ночи вдруг — звонок! Я только что улегся, не успел заснуть. Вот, оказывается, когда они за мной все-таки пришли! Подождали, пока все успокоилось и мы сами начали маломало успокаиваться — тут-то нас и накрыли, как перепелов! Кто же мог еще быть в такой несуразный час?

Я не успел выйти в переднюю,

(Продолжение следует)

И во Франции читают «ВИЖ»

«Военно-исторический журнал» оставляет интересное впечатление. И прежде всего за счет стремления редакции сделать его более историческим...

1989 год открыл новый, революционный этап в истории журнала.. В обращении к дореволюционному прошлому обнаруживается стремление журнала показать связь времен, преемственность традиций. Например, напоминание о единстве помыслов старой русской армии с современными Советскими Вооруженными Силами...

Это очень обнадеживающие признаки влияния перестройки и гласности на эволюцию в советской военной истории... По этим признакам, на наш взгляд, можно судить о начале важного движения, смысл которого в нахождении связей между советской военной историей и военной историей Российской империи. В этом движении революция уже не рассматривается как полный разрыв с прошлым, а скорее как коренное изменение в исторической диалектике, направленное на глубокое переосмысление и совершенствование этого прошлого.

К. Б. Ф. ГЕЛЬТОН

(Revue Historique des Armees. — 1990. — № 1.)

жена открыла. Кого-то впустила. Слышу тихий разговор в передней, кто-то идет в мою комнату. Входит один московский знакомец. Оказывается — посланец Солженицына. Рубит:

— Разговаривать некогда, такси ждет. Велено получить ответ только на один вопрос: взят «архив» или «Архип»?

Прямо каламбур, не правда ли? И какой уместный! Во мне поднимается глухое раздражение.

— И то, и то.

— Так «архив» или «Архип»? — повторяет московский гонец.

— И то, и то! — с ударением отвечаю я, уже начиная стискивать зубы от злости. Мне-то понятно, что этот господин от самой Москвы привел за собой «хвост» прямо ко мне и после его ухода меня снова поволочут по кочкам. Говорю ему об этом. Он отвечает:

— «Хвоста» не заметил.

— Если вы не заметили, это вообще не значит, что его нет.

Жду, что он еще спросит. Думаю, ему поручено спросить о Елизавете Денисовне что-нибудь, какие-нибудь слова сочувствия передать, поручить нам что-нибудь на могилу положить от «того» имени в знак внимания и памяти. Ни звука. Может, обо мне самом справляются там, в Москве, я тоже ведь как-никак лицо потерпевшее? Ни самома-лейшего вздоха!

Вместо этого:

— Исаевич говорит, нужно немедленно ваше заявление для иностранных корреспондентов. Запад должен знать все, мы не должны молчать, гласность, гласность нужна, полная гласность...

Л. А. САМУТИН

НЕ СОТВОРИ КУМИРА

К ГЛАВЕ «Архипелага», которая называется «Следствие», у меня с самого начала предвзятое отношение. Что делать, когда читаешь о ситуациях, близких тем, в которых сам находился, — невольно «примеряешь на себя», на свой опыт. А он у меня был таким...

...В начале июня 1946 года в датском полицейском автобусе под сильной охраной датчане перевезли меня, мою секретаршу и еще пятерых «перемещенных лиц» из Копенгагена в английскую зону оккупации, в город Любек, и передали там англичанам. Те, проверив сопроводительные бумаги, не только не стали допрашивать нас, но даже ни единого вопроса не задали и доставили всех на контрольно-пропускной пункт демаркационной линии с советской оккупационной зоной. Потом просто выпихнули нас через эту линию под дула родных, советских же автоматов... Покоряясь судьбе, нисколько не сомневаясь в том, что нас ожидает, спустились под этими дулами вниз по каменным ступенькам в подвал контрразведки «Смерш».

Наши предчувствия предельно сурового и жестокого обращения не оправдались. Мы ожидали тут же и немедленно беспощадной встречи с отбиванием внутренностей и отнятием, по крайней мере, полжизни. Ничего похожего не произошло. Был обыск, тщательный, очень придирчивый, с окриками и понуканиями, с обращением, которое не назовешь изысканным, но оно нас как-то не возмутило.

Это было первое «разочарование» в наших ожиданиях. Датчане передали вместе с нами одного молодого бывшего казачьего офицера, с которым я встречался летом 1944 года, когда через датский город Ольборг, в котором располагалась наша редакция, проезжал атаман Г. Шкуро со свитой из нескольких человек. Атаман ехал вербовать из лагерей, находившихся на территории Норвегии, добровольцев в казачьи части. Части эти были сведены в отдельный корпус под командованием генерала фон Панневитца, но при нем был казачий совет с председателем — атаманом П. Красновым, бывшим донским атаманом, свитским генералом царских времен и казачьим «вождем» начальной эпохи гражданской войны. Между прочим, тем самым Красновым, которого большевики выпустили из тюрьмы в ноябре 1917 года под честное слово, что он не возобновит вооруженной борьбы против Советской власти. Фамилии и Краснова, и Шкуро мне были хорошо известны — в годы нашего учения в школе, на рабфаке и в ВУЗе историю тогда еще недавней гражданской войны изучали подробно и детально.

Я хорошо запомнил тот день, когда мой ординарец доложил, что какие-то незнакомые офицеры приехали из Германии и хотят меня видеть. Вошли два офицера, лейтенант и капитан. Оба представились, поздоровались. Заговорил почему-то лейтенант, капитан молчал. От них узнал я, что они сопровождают генерал-майора Шкуро в поездке в Норвегию за пополнением. Корпус стоит в Югосла-

вии, участвует в борьбе с Тито и Михайловичем. Сейчас они ждут самолета и остановились в отеле «Ритц», генерал просит меня «на стакан чаю».

Так состоялась моя встреча с еще одной печально известной «исторической» личностью — казачьим атаманом Шкуро. Я даже помнил по литературе описание внешности атамана: шрам от сабельного удара наискосок через все лицо. Встреча в отеле «Ритц» в общем-то подтвердила мое представление об атамане. Действительно, лицо было разрублено наискосок от левого края лба через нос, правую щеку и вниз почти до шеи. Страшный удар! Но, видимо, здоров был в молодости атаман! Выдержал такое ранение. В общем же он поразила меня примитивизмом профессионального рубаки и отчаянного выпивохи. Датский «Аквavit» — тминную сорокаградусную — он глушил, как лимонад, не пьянел нисколько, только краснел и распался. Темами его речей были вино, женщины и рубка. Ни военные дела, ни политика его, казалось, совершенно не интересовали.

Вот с этим-то лейтенантом из окружения генерала Шкуро и свела меня судьба в подвале советской контрразведки. Его судьба выглядела куда печальней моей. После всеобщего крушения он каким-то образом очутился опять в Дании. Молодой, смазливый и ловкий парень, он сумел быстро охмурить какую-то датскую девчонку в провинции, прибил к ее семье, успел наградить ее ребенком и стать весьма ценным помощником папаша — владельца небольшой авторемонтной мастерской. С чисто русской ловкостью быстро овладев слесарным делом, завоевав своим трудолюбием и способностями уважение датчан, а главное — тестя, уже видевшего совершенно реальные возможности расширения своего «бизнеса», он считал себя вполне устроенным и спасенным. Но молодые решили оформить брак в муниципалитете. Это привлекло внимание властей, дошло до полиции, которая имела инструкции выискивать

скрывающихся русских и подвергать их насильственной репатриации через англичан. Так, в один прекрасный день за нашим молодым счастливецом прибыл черный полицейский автомобиль... И теперь недавний лейтенант тяжело и несколько истерично переживал крушение своей судьбы, то переходя к бурному веселью и бравате, то впадая в глубокое уныние и депрессию. Он очень боялся предстоящего следствия и суда, имея, видимо, в прошлом какие-то серьезные грешки...

Итак, хоть нас и встретили не с распростертыми объятиями, а дулами автоматов, но не били и кормили. После датских и шведских разносолов отечественная тюремная пища первое время никак не шла в рот, не в силу непригодности, а по резкому контрасту. Мы, конечно, избаловались в благословенной Дании и привыкли к другой еде.

Но жизнь и нужда берут свое, и скоро пришлось выскребать ложками баланду и кашу со дна тюремных мисок и подбирать крошки. Пайка хлеба, граммов 400—500, полмиски овсяной каши и кружка сладковатой, подчерненной чем-то жидкости — завтрак. Какой-то картофельно-крупяной супчик — баланда, и опять полмиски каши, той же овсянки или дробленого пшена, или «магары» — обед. Вечером на ужин — еще раз каша.

Конечно, это однообразно и невкусно, но с голоду не умрешь. Это было второе «разочарование», постигшее нас, — мы ждали, кроме избиваний, еще и пытки жестоким голодом: зачем же кормить людей, обреченных на уничтожение? Но рядом с нами, за стенкой, находилась камера смертников, уже осужденных к высшей мере, — их кормили так же, как и нас. С соседями мы перестуживались по ночам. Основная информация: сколько вас? А вот сколько нас! Колебания численности за стенкой весьма занимали наше сознание. Мы почти не сомневались, что через какое-то время будем постукивать в эту же стенку, но с той стороны...

Третий пункт наших «ожиданий» тоже не оправдался. Мы все жда-

ли «пыточного следствия», не сомневались, что нас будут избивать не только следователи, но и специально обученные и натренированные дюжие молодцы с засученными рукавами. Но опять «не угадали»: не было ни пыток, ни дюжих молодцов с волосатыми руками. Из пятерых моих товарищей по беде ни один не возвращался из кабинета следователя избитым и растерзанным, никого ни разу не втащили в камеру надзирателя в бессознательном состоянии, как ожидали мы, начитавшись за эти годы на страницах немецких пропагандистских материалов рассказов о следствии в советских тюрьмах.

Спустя четверть века, листая рукопись «Архипелага», я снова увижу описание «пыточного следствия», да еще в тех же самых словах и красках, которые помнятся мне еще с того, немецко-военного времени. Это картины, сошедшие почти в неизменном виде с гитлеровских газетных статей и страниц пропагандистских брошюр. Теперь они заняли десятки страниц «Архипелага», книги, которая претендует на исключительность, объективность и безупречность информации.

Из-за водянистости, отсутствия строгой организации материала и умения автора затуманивать сознание читателя, играя на его чувствах, при первом чтении проскакивает как-то незамеченным одно очевидное несоответствие. Красочно и драматично рисуя картины «пыточного следствия» над другими, дошедшие до Солженицына в пересказах, он затем на доброй сотне страниц будет рассказывать не столько о самом себе в роли подсудимого, сколько о том, в какой обстановке протекала жизнь в следственной тюрьме: как заключенные читали книги, играли в шахматы, вели исторические, философские и литературные диспуты. И как-то не сразу придет мне в голову несоответствие картин фантастических пыток с воспоминаниями самого автора о его благополучном пребывании в камере.

Итак, пыток перенести не привелось ни автору «Архипелага ГУЛАГ» Солженицыну, ни его сосе-

дям по тюрьме в Москве, ни мне с товарищами в подвале контрразведки 5-й ударной армии на территории Германии. И в то же время у меня нет оснований утверждать, что мое следствие шло гладко и без неприятностей. Уже первый допрос следователь начал с мата и угроз. Я отказался говорить в таком «ключе» и, несмотря на усилившийся крик, устоял. Меня отравили вниз, я был уверен — на избивание, но привели «домой», то есть в ту же камеру. Два дня не вызывали, потом вызывали снова, все началось на тех же нотах, и результат был тот же. Следователь позвонил по телефону, пришел майор, как потом оказалось, начальник отдела. Посмотрев на меня сухими, недобрыми глазами и выслушав претензии и жалобы следователя, он спросил: «Почему не даёте старшему лейтенанту возможности работать? Почему отказываетесь давать показания? Ведь все равно мы знаем, кто вы такой, и все, что нам еще нужно, узнаем. Не от вас, так другими путями».

Я объяснил, что не отказываюсь от показаний и готов давать их, но протестую против оскорблений и угроз. Честно говоря, я ожидал, что майор бросит мне: «А чего еще ты, сволочь, заслуживаешь? Ждешь, что с тобой тут нянчиться будут?» Но он еще раз сухо взглянул на меня и сделал какой-то знак следователю. Тот ткнул рукой под стол — нажал кнопку вызова конвоира. Тут же открылась дверь, и меня увели.

Опять не вызывали несколько дней, а когда вызвали, привели в другой кабинет и меня встретил другой человек с капитанскими погонами. Предложил сесть на «позорную табуретку» — так мы называли провинченную табуретку у входа, на которую усаживают подсудимого во время допроса, потом сказал:

— Я — капитан Галицкий, ваш следователь, надеюсь, что мы с вами сработаемся. Это не только в моих, но и в ваших интересах.

И далее повел свое следствие в формах, вполне приемлемых. Я стал давать показания. Тем более что с первого же дня нашего об-

щения капитан усадил меня за отдельный столик, дал чистые листы бумаги и предложил писать так называемые «собственноручные показания». Лишь потом, когда показания он стал переводить на язык следственных протоколов, я понял, что этот человек «мягко стелет, да жестко сплет». Галицкий умело поворачивал мои признания в сторону, нужную ему и отягчавшую мое положение. Но делал это в форме, которая тем не менее не вызывала у меня чувства ущемленной справедливости, так как все-таки ведь я был действительно преступник, что уж там говорить. Но беседовал капитан со мной на человеческом языке, стараясь добираться только до фактической сути событий, не пытаясь давать фактам и действиям собственной эмоционально окрашенной оценки. Иногда, желая, очевидно, дать мне, да и себе тоже, возможность отдохнуть, Галицкий заводил и разговоры общего характера. Во время одного я спросил, почему не слышу от него никаких ругательных и оскорбительных оценок моего поведения во время войны, моей измены и службы у немцев. Он ответил:

— Это не входит в круг моих обязанностей. Мое дело — добыть от вас сведения фактического характера, максимально точные и подтвержденные. А как я сам отношусь ко всему вашему поведению — это мое личное дело, к следствию не касающееся. Конечно, вы понимаете, одобрять ваше поведение и восхищаться им у меня оснований нет, но, повторяю, это к следствию не относится.

Я подумал тогда про себя, что такая позиция капитана вряд ли соответствует существовавшей в те времена партийной этике и уж, конечно, противоречит инструкциям для чекистских следователей, обязанных ненавидеть смертной ненавистью своих подследственных (в существование таких инструкций я верил безусловно). Однако факт остается фактом, именно такие слова я услышал от своего следователя капитана Галицкого.

Итак, следствие шло к концу. Я ожидал своей меры наказания. В

1946 году такой мерой было 10 лет лагерей и 5 «по рогам», то есть 5 лет лишения гражданских прав после отбытия срока наказания. «Лишение прав» — это в основном лишение права «избирать и быть избранным» в органы Советской власти. Весьма условное наказание для нашего брата, антисоветчика...

Именно так было и с нами — нас судил военный трибунал 5-й ударной армии и дал обоим (мне и моей секретарше) одинаковый срок: 10 и 5, несмотря на совершенно очевидную разницу в степени фактической ответственности за содеянное. Важно было, как я понял, не различие тягости преступных действий, а сам факт наличия таковых, лишь бы он не достигал той критической черты, за которой следовала более суровая мера наказания. В те годы это означало расстрел. Такой приговор выносили тем, против кого были собраны неопровержимые доказательства участия в карательных операциях на оккупированной территории, в казнях и тому подобных акциях. Любопытно сохранившиеся в памяти слова прокурора, полковника, фамилию которого не запомнил, сказанные им мне при закрытии следственного дела. В соответствии с так называемой 206-й статьей тогдашнего Уголовно-процессуального кодекса это «закрытие» заключалось в том, что в присутствии прокурора подследственному давали для ознакомления все его «дело».

В моем деле были вещественные доказательства преступной деятельности — номера нашей газеты «На дальнем посту» с моей подписью: «Отв. редактор...» Были ли они добыты советской разведкой за границей или вывезены советскими репатриантами из числа насильно угнанных немцами из России, добровольно возвратившимися на Родину, не знаю. Считаю одинаково вероятным и то и другое. Были еще в деле две удивившие меня бумаги: первая о том, что для производства следствия нас (меня и мою спутницу) следует перевести в более высокую инстанцию — из дивизионной в контрразведку армии, а вторая — ходатайство на-

чальника следственного отдела армейской контрразведки примерно следующего содержания: «Подследственный такой-то продолжает упорствовать в сообщении сведений о своей изменнической деятельности, не раскрывает своих преступных связей с различными контрреволюционными элементами и организациями и т. д., вследствие чего считаю необходимым продление следствия с переводом подследственного в контрразведку Группы оккупационных войск». На этой бумажке была наложена резолюция: «Материалы, полученные следствием достаточно изобличают подследственного... в его преступной антисоветской деятельности, поэтому необходимости передачи его для продолжения следствия в контрразведку Группы оккупационных войск не имеется, и он надлежит быть предан суду военного трибунала 5-й ударной армии». Эта резолюция была подписана прокурором 5-й армии, перед которым я теперь сидел.

— Считайте, что вам повезло, Самутин. Вы получите 10 лет, отсидите их и еще вернетесь к нормальной гражданской жизни. Если захотите, конечно. Попали бы вы к нам в прошлом, 45-м году, мы бы вас расстреляли.

Часто потом приходили на память те слова. Ведь вернулся я к «нормальной гражданской жизни».

Время пребывания в следственных подвалах растянулось на четыре месяца из-за продления следствия. Я боролся изо всех своих сил, сопротивлялся усилиям следователей «намотать» мне как можно больше. Так как я скупо рассказывал о себе, а других материалов у следствия было мало, то следователи и старались, по обычаям того времени, приписать мне такие действия и навалить на меня такие грехи, которые я не совершал. В спорах и возне вокруг не подписываемых протоколов мне удалось скрыть целый год службы у немцев, вся моя «эпопея» у Гиля в его дружине осталась неизвестной. Не могу сказать, какое имело бы последствие в то время разоблачение еще и этого этапа моей

«деятельности», изменило бы оно ход дела или все осталось бы в том же виде. Тут можно предполагать в равной степени и то и другое. Тем не менее весь свой лагерный срок до Указа об амнистии в сентябре 1955 года я прожил в постоянном страхе, что этот мой обман вскрыется и меня потащат к новой ответственности.

Но вернемся к Александру Исаевичу Солженицыну.

Общие рассуждения о следствиях вообще, о которых слышал из пятых или десятых рук автор, внимания не заслуживают. Описания камерного быта были бы интересны, не топи автор читателя в болотах невыносимых длиннот и скучных подробностях. Для и прямого отношения к делу они не имеют. И так ясно: сухо, тепло, белье даже. Правда, вот библиотекарьша неумело пользуется косметикой. Но тут, как говорится, «мне бы ваши заботы...»

Самое удивительное другое.

Невозможно понять, в чем же конкретно обвиняли Солженицына, каковой была тактика следователя и как вел себя на допросе подследственный. В чем суть «криминала» автора «Архипелага»? Намеки, недомолвки, «полуправды». Впечатление такое, будто автор все время хочет что-то скрыть.

Я решил проверить свое впечатление, пересказав (в ту пору рукопись еще лежала у меня на даче) содержание главы старому другу-юристу.

Мой «однопольчанин» по Воркуте занимал в свое время немалые должности в судебных органах. Вскоре по окончании войны был обвинен в «либерализме» и «потачках преступникам», снят с должности и сам отхватил десять лет. Освободились мы почти одновременно, он был реабилитирован и вернулся в Ленинград. Звали его и на прежнее поле деятельности, и в науку, но решил он, что будет отныне «жить только для себя», и на должности выше, чем юрисконсульт маленького заводика с окладом рублей в восемьдесят, не соглашался. Вскоре получил неплохую персональную пенсию и совсем оставил работу. Но если мне когда-ни-

будь (пронеси, господи!) доведется снова стоять перед судом — ни на какого другого адвоката я не соглашусь.

Друг выслушал меня и спросил: — А приговор?

— Приговора нет... А что, без него нельзя?

Мне было объяснено, что в приговоре содержится формула обвинения (это я знал и так!), что, не зная, в чем именно обвиняли человека, невозможно составить объективное мнение ни о следствии, ни о поведении подсудимого во время оногo (это я и сам чувствовал). И что осужденный скрывает содержание приговора только в одном случае: если разглашение может нанести ему ущерб.

Я не упустил случая поинтересоваться у Н. А. Решетовской, видела ли она когда-нибудь копию приговора мужа. Наталья Алексеевна ответила, что, конечно, не держала ее в руках, когда хлопотала о пересмотре дела в 1946 году. Но обращала внимание только на заключительные фразы, говорящие о лишении свободы. А потом как-то куда-то Саня этот документ прибрал. Ему виднее, он больше в таких вещах разбирается.

В самом деле, почему там, где так много места уделено последним мелочам, нет того, что по важности можно было бы назвать «документ номер один»?!

Что бы мы узнали, прочитав этот документ?

Не так уж мало: перечисление квалифицированных как преступные деяния обвиняемого. Если у него были соучастники — их имена и степень виновности. Далее должна следовать ссылка на доказательства: показания свидетелей таких-то и таких-то, перечисление вещественных доказательств, упоминание об экспертизах и т. д. и т. д.

Но о приговоре в главе «Следствие» нет ни слова.

Зато вдруг какие-то неожиданные для сурового, никому ничего не прощающего Александра Исаевича призывы к кроткости и мягкосердечию.

«Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подпи-

сал лишнее... Не кинь в него камень!» И это заявляет человек, который метал молнии в Якира и Красина. Не за «подписание лишнего», не за оговоры и ложные обвинения, а всего-навсего за признание и без того доказанных следствием фактов.

Почему вдруг забыта нетерпимость, которой так гордится Солженицын?

Ага! Вот оно в чем дело! «Из тюремной протяженности, оглядываясь потом на свое следствие, я не имел оснований им гордиться. Я, конечно, мог держаться тверже и извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели...»

Из материалов Н. Виткевича и покойного профессора Ю. С. Симоняна мы знаем, что значило это «я, конечно, мог держаться тверже». Солженицын оговорил на следствии нескольких ни в чем не виновных людей. Но последуем призыву и не будем бросать камни! Что взять с человека, на которого накатило «затмение ума и упадок духа»? Многие ли способны перенести такую пытку, как необходимость спать при свете лампочки под потолком!

Если мы и можем осудить Солженицына, то не за слабость духа в то время. (Прошли все сроки давности). Ему действительно казалось, что жизнь его кончена, и он цеплялся за нее любыми средствами. Вызывает отвращение другое. Будучи пойман за руку сейчас, фактически признав в той же самой главе свой давний грех, он все-таки пытается изворачиваться и льет новую грязь на оговоренных им же старых друзей, в то же самое время трубя на весь мир, что человечество может спасти только... покаяние.

Но, повторяю, речь идет не об этом. Свидетельства Виткевича и Симоняна достаточно известны. Авторитет и честность этих людей не могут вызвать сомнения у самых закоренелых скептиков. Меня интересовало другое. Как в действительности шло следствие?

Для этого нужно ответить на несколько вопросов, которые никогда не придут в голову читателю бо-

лее молодого поколения даже у нас в стране, а тем более неискушенному западному.

1. Почему понадобилось везти, да еще индивидуальным порядком, арестованного Солженицына с фронта в Москву? Неужели любой армейский трибунал не мог «влепить» ему «законную десятку»? Улики-то были налицо. Фотокопии писем, где арестованный «критиковал Сталина». Мы-то знаем, как просто это делалось, хотя бы на примере судебного дела Виткевича.

2. В «преступной переписке» участвовали двое. К концу апреля следствие по делу одного из них закончено. День Победы — 9 Мая — Солженицын встречает уже старожиллом общей камеры. А второй? Спокойно разгуливает по берегу Эльбы, в двух шагах от союзников... И берут его под стражу лишь после окончания следствия над Солженицыным!

3. Почему Солженицын получает такой, по тем временам буквально неестественно малый срок по совокупности двух статей, из которой 58—11 (создание антисоветской группы) была погрозней, чем простое 58—10? Почему при этом «без конфискации имущества и лишения наград», как отмечается в заявлении Солженицына от 1946 года?

4. Почему, когда при подписании ст. 206 следователь предложил в ответ на претензии Солженицына начать следствие сначала, т. е. дал шанс исправить то, что было создано «помутненным разумом», Солженицын отказался от всяких замечаний и протестов?

5. Почему нигде и никогда не говорит Александр Исаевич, в чем же конкретно он обвинял Сталина, каково было содержание пресловутой «Резолюции № 1»?

Как объяснить все это?

Восстановить ход следствия пыталась Наталья Алексеевна Решетовская. Ей мешали два обстоятельства. Во-первых, она, несмотря на все стремление к объективности, была лицом заинтересованным. Все, что отягощало совесть Сани, убивало и ее, и она инстинктивно сторонилась этого. Во-вторых,

ей попросту не хватало житейского опыта, знакомства с такими мрачными сферами действительности, как следственные изоляторы, суды, лагеря. Немало интересных мыслей выскажет позднее чехословацкий журналист Томаш Ржезач в своей во многом блистательной книге. Но он не жил в Советском Союзе тех времен.

Хотя мой собственный «судебно-следственный» опыт минимален, я знаком с судьбами сотен людей, которым повезло куда меньше, чем мне, помню их рассказы, а с некоторыми могу проконсультироваться дополнительно. По-видимому, возможности чеха были гораздо больше моих. Ему даже удалось разыскать бывшего следователя Солженицына. Почему он не догадался задать ему мои вопросы? Я понимаю, что, конечно, мне такой случай никогда не представится. Это такая же утопия, как шанс заглянуть в судебное дело!

И вдруг я вспомнил о хранящейся у меня и по сию пору фотокопии «Заявления»! Это, конечно, не «дело», даже не приговор, но в известной степени «аннотация» его. В «Заявлении» Александр Исаевич не мог писать ничего, что противоречило бы материалам дела. Он был бы тут же уличен в попытке обмана. А между тем... Вот оно, заявление!

Все, вплоть до умного и недоверчивого профессора Симоняна, как-то безоговорочно приняли версию самого Александра Исаевича, что он в злополучных письмах ругал и поносил Сталина. Но как мне самому прежде не пришло в голову, что в СССР в 1944—1945 годах это было стопроцентно невозможно.

Солженицын находился не в Дании, как я, а в действующей армии, где существовали свои, определенные военным временем предельно жесткие законы. Не могу сказать, сколько часов прошло бы от обнаружения цензором в письме слов, порочащих Верховного Главнокомандующего, до военно-полевого суда. Но полагаю, что не так много. Армейская юстиция не всегда справедлива, но всегда скоро.

А тут? Что-то около года кто-то

терпеливо снимает фотокопии с письма за письмом, терпеливо ожидая чего-то. Чего именно?

Да ведь тот человек, цензор или контрразведчик, который бы год целый тянул дело с разоблачением явного антисоветчика, уже обнаружившего себя, сам страшно рисковал своей собственной головой, если бы вдруг такая проволочка обнаружилась. И можно ли в таком деле ждать чего-то еще, если «враг» уже очевиден и прямые доказательства налицо? Что, ждать, пока человек с такими настроениями совсем созреет и перебежит к немцам, да еще и со своей секретной техникой?

Совершенно нелепо утверждение Солженицына, что цензура и контрразведка год следили за его перепиской с Виткевичем, в которой-де содержалась ругань и хула в адрес Сталина. Сколько мы знали людей, отхвативших свою «десятку» за одно только единственное ругательное слово в адрес Сталина и арестованных тут же, на другой день!

Значит, в письмах никакой ругани или даже критики не было. А были (см. стр. 2 «Заявления») «...ошибки, которые я открыто излагал в письмах, ибо искренне считал себя верным сыном Советской Родины, и мне даже в голову не приходило, что меня могут квалифицировать как врага ее».

Так что понятна медлительность органов, занимавшихся наблюдением за перепиской офицера Солженицына. И они ломали голову, кто же это пишет: сумасшедший, заблудшая овца, дурак или... враг? На врага, пока не тянуло. Иначе, если и не арестовали бы, то нашли бы любой из десятков способов убрать с фронта, да еще из такой сверхответственной части. Тамошние же чекисты (а они-то наверняка были постарше в курс дела) первыми бы попытались избавиться от слишком много пишущего комбатареи. Случись что, жизни не хватит на объяснения, куда, мол, растяпы, глядели! Сигналы-то вот они, в папочках подшиты!

Что же за «ошибки... излагал» автор этих писем?

Вот это установить не так уж

трудно! Письма к Решетовской сохранились, и надо думать, что даже у такого не во всем последовательного человека, как Александр Исаевич, не было обыкновения по четным дням проповедовать одну политическую концепцию, а по нечетным — другую. Вот они, эти письма, которые теперь может прочесть каждый. Книга* выпущена Издательством АПН хотя и ограниченным тиражом, но доступна.

«Превращение войны отечественной в войну революционную». «Война после войны» — короче говоря, вперед, до Ла-Манша! Даешь Париж! Даешь Европу!..

Это противоречило официальным установкам того времени. Но в армии такие разговоры ходили, и «ошибавшихся», как правило, только журили, их считали хорошими ребятами, лишь с излишней долей лихости. Были и разговоры о том, что роспуск Коминтерна, запрет на рассуждения о «мировой революции» и т. п. — все это «тактика». «Так, мол, Федя, надо! А мы-то, «фронтовые орлы» — сами с усами, нас не проведешь...»

По-разному относились к таким разговорам. Можно было увидеть и подмигивающий глаз строгого начальника при чтении нотации, а могло дело обернуться наказанием за повторение «троцкистских бредней». Но и в этом случае Солженицын прав — ему «даже в голову не приходило, что его могут квалифицировать как врага».

Это косвенно подтвердил... генерал Травкин. Тот самый командир бригады, в штабе которого с Солженицына сорвали погоны. Как описывает сам автор, генерал напутствовал схваченного контрразведкой словами: «Желаю вам счастья, капитан». И это, между прочим, в присутствии двух сотрудников контрразведки. Думается, что, не зная генерал сути дела, он никогда бы не поступил так. Судите сами, человека уводят чекисты. Генерал не знает, может быть, это искусно маскировавшийся шпион? Может быть, это негодяй, в нетрез-

* Решетовская Н. А. В споре со временем. — М.: Изд-во АПН, 1975.

вом виде критиковавший Верховного Главнокомандующего? Может быть, предатель, готовивший переход на сторону врага? Нет, службист Травкин точно знал, что берут подчиненного за мальчишество, за неуместную лихость и бравату. И пожалел дурачка, зафиксировавшего на бумаге то, что другие болтали в узком кругу.

Для армейской контрразведки «дело» крамольного офицера тоже было «уравнением со всеми неизвестными». «Прокоминтерновская пропаганда» вроде бы не числилась в реестрах государственных и военных преступлений. С другой стороны, какие-то таинственные «группы», хотя и в послевоенной проекции, какая-то необходимость объединения единомышленников и распространения влияния на все общество, вплоть до правительства... Словом, то дело, на котором как раз и можно поскользнуться. Поэтому послать этого «писателя» куда подальше. И послали... в Москву. Дело, дескать, не военное, а сугубо политическое. Пусть в высоких сферах сами разбираются.

На всякий случай: мало ли что придет в голову столичному начальству — не в арестантском вагоне, не в телячьей теплушке, а как бы «под домашним арестом», в сопровождении офицера, в общем «бесплацкартном».

Так претворилась в жизнь первая часть «плана» Александра Исаевича. Его увезли с фронта.

Нет, дорогой читатель, слово «план» — отнюдь не оговорка.

Любой, кто остановит свое внимание на этих страницах — неизбежно задаст вопрос: для чего же нужно было Солженицыну афишировать свои, мы бы сказали теперь, «диссидентские» (только не справа, а слева!) взгляды? Ведь не от Решетовской зависели приказы о марше на Париж или издание инструкций по проведению «мировой революции».

Позже, когда я прочту статью профессора Симоняна «Ремарка», мне захочется пожать ему руку, хотя я и не совсем согласен с его версией. Симонян считает, что Солженицын совершил «моральный самонос», чтобы дождаться конца

войны в тюрьме, а потом быть освобожденным по амнистии. Это, конечно, не исключается. Но Симонян исходил опять-таки из версии о ругательствах и критике в адрес Сталина, а с ней, как мы видим, не все получается. Поэтому, хотя по схеме наши рассуждения и совпадают с мнением профессора, вопрос требует более широкого толкования.

Давая пищу для размышлений и догадок цензуре и контрразведке, Александр Исаевич вовсе не ставил своей целью непременно тюремное заключение (хотя и считался с его возможностью!). Главное было навести на себя какие-то подозрения, которые сделали бы его пребывание на фронте нежелательным. Солженицыну, конечно, был известен не один десяток случаев (не забываете, не забываете: это же военное время, 1944 год!), когда людей откомандировывали с запада на восток по самым удивительным причинам. Я знал одного храбрца кавказца, лихого командира батальона, которого отозвали с передовой и сделали на годы комендантом гарнизона в скучнейшем тыловом городке, так как обнаружилось, что его мать... гречанка! В Воркуте работал (я познакомился с ним, когда этот симпатичный парняга отбыл свой недолгий, годичный срок и был «вольным») молодой техник, попавшийся на том, что сообщил о себе в какой-то из бесчисленных анкет того времени «неверные сведения»: скрыл, что находился в начале войны на оккупированной территории.

И наверное, из частей «особой секретности», вроде той, в которой служил Александр Исаевич, отправляли в тыл и лиц с подозрительными связями и родствами, и сомнительных политически и т. д.

Чем плохо было бы заканчивать войну в каком-нибудь запасном артполку? Или, на худой конец, охраняя мост где-нибудь на Волге?

Риск, что увязнешь поглубже, конечно, был. Но и на случай ареста держал Александр Исаевич некоторые козыри про запас. Рукописи. Рукописи первых рассказов, которые (я опять цитирую все то же «Заявление») «...выношенные на

фронт... сами говорят за себя — они выражают ТОЛЬКО (выделено Солженицыным. — Л. С.) искреннюю советскую идеологию».

Такую же идеологию выражала и пресловутая «Резолюция № 1», постоянно носимая при себе. Автор ее, конечно, что-то путал! Но ведь наш, советский, сверхреволюционер, суперкоммунист, патриот из патриотов!

Был, вероятно, еще расчет, как говорят теперь, «на личное обаяние». Неужели следователь не оценит рубаку-фронтовика, храброго артиллериста, прошедшего огонь и воду, да к тому же такого эрудита и умницу, такого мастера на цветистое слово, не будет обворожен талантом случайно попавшего в сети контрразведки своего парня!

Солженицын, по-видимому, и начал с этого. Во всяком случае, намек на такое есть в «Круге». Нержин начал объяснять следователю, что все пошло, мол, от изучения марксизма, что он как бы ультрамарксист...

Тут-то и провалился весь блистательный план.

Следователь Солженицына, так же как следователь Нержина, не пошел на разговор о тонких материях философского характера, а прямо и недвусмысленно потребовал рассказ об антисоветской деятельности подсудимого. Кто знает, прояви в этот момент Александр Исаевич хотя бы минимум твердости и силы духа, скажи решительное «нет», заяви, что удивлен и возмущен такими обвинениями — может, и отпустили бы бедолагу с миром, не было бы ни отсидки, ни «Ивана Денисовича», ни «Архипа», а кропал бы член Союза писателей Солженицын до конца дней слащаво-патриотические рассказы вроде тех, что лежали «приобщенными к делу» и которые следователь и смотреть не стал, почувствовав, кто сидит перед ним... («Страшно подумать, — признает А. И. в «Теленке», — какой бы я стал писатель!»). Но тут-то и наступило то самое примечательное «помутнение сознания». Александр Исаевич вместо хоть каких-то попыток борьбы со следователем начал признаваться во всех грехах —

подлинных и мнимых, своих и чужих.

По рассказу Виткевича, читавшего протокол допроса, это выглядело так. Следователю хватило одного окрика: «Солженицын, вы не искренни со следствием!»

На что было отвечено:

«Я искренен... Но я все забыл. К следующему допросу вспомню»...

Я не сомневаюсь в подлинности этой сцены, ибо она подтверждена не только Виткевичем, но и самим Солженицыным. Когда в американских газетах появилось интервью АПН с Виткевичем, Солженицын не мог оспаривать обвинений бывшего друга. Он высказал три упрека, которые могут увести от сути дела, но только подтверждают ее.

1. Виткевич читал протоколы не при реабилитации, а позже. (Значит, они все-таки были и содержание их соответствует сообщению Виткевича.)

2. Формулировки протоколов принадлежат следователю, а не Солженицыну. (А исправления рукой Солженицына на полях?)

3. Виткевич был настоящим «соучастником», так как подписал «Резолюцию № 1». Но Виткевича судили-то не за эту злосчастную резолюцию, а за «злостную клевету на Сталина и антисоветские высказывания, которых в «резолюции» не было.

Итак, Александр Исаевич, находясь в «помутненном сознании», начал вспоминать.

А отуманенность эта была, по-видимому, вызвана неким психологическим шоком, связанным с тем, что Солженицын внезапно ощутил себя потерянным, утратил всякие надежды и доминирующим чувством всего его поведения стал страх. Страх уже имманентный, непреодолимый.

Впрочем, это уже область догадок.

Вернемся к теме.

Ответ на второй вопрос, почему дело против Виткевича было возбуждено лишь по окончании следствия над Солженицыным, напрашивается сам. Потому что обвинения против Виткевича возникли только в ходе допросов Солженицына, когда он «навспоминал» и

целую антисоветскую организацию, и преступную деятельность ее членов. Из сказанного становится ясным и все, что касается третьего вопроса о малом наказании Солженицына. Он сам признает, что в его ступоренном мозгу оставалась лишь одна четкая, над всем довлеющая мысль: понравиться следователю, не сердить следователя, угодить следователю. Он охотно давал любые показания. Он полностью доказал, что он все-таки «советский». «Свой парень», что он предельно безвреден для властей.

В эпизоде подписания Солженицыным статьи 296 — завершение следствия — Солженицын обращается к прокурору Котову с единственной просьбой. Пусть будет статья 58—10. Против этого он не протестует. Но почему же еще 58—11 — группа? Ведь нас было только двое?!

Котов отвечал ему в хлестком стиле собственных солженицынских речей, где словесный шик иногда заменяет здравый смысл:

— Полтора человека — это уже группа.

Звучит красиво, но в деле были показания самого подследственного против остальных потенциальных участников «группы». И конструкция обвинения состояла не в том, что действительно создана группа, а в том, что существовало намерение создать таковую. Так

что, наверное, эта часть сцены тоже фольклор.

Когда следователь в ответ на претензии Солженицына предложил начать следствие сначала, то Александр Исаевич снова пережил состояние шока. Иначе он сообразил бы, что это благо, а не наказание. Ведь он сможет отказаться и от самооговора, и от оговора других, ни в чем не повинных людей. Спасти не только себя, но и Виткевича, Симоняна, Ежерец, любимую жену. А в том, что опасность для них всех представлялась Александру Исаевичу вполне реальной — сомнений нет. Ведь все его первые письма, как только разрешили после следствия переписку, полны вопросов. Что с Кириллом? Где Наташа? Где Виткевич?

Но он панически боится снова оказаться в кабинете следователя. Видимо, тут опять срабатывает уже укоренившаяся боязнь «рассердить», «не угодить». Страх настолько велик, что можно и чужими жизнями пожертвовать.

Итак, все, как говорится, стало на свои места. И тайн-то, в настоящем смысле этого слова, никаких не было. Просто так много было наболтано и накручено, что не сразу разберешься. Вот что может наделать одна-единственная электрическая лампочка под потолком камеры, если ее не выключать на ночь!

Л. А. САМУТИН

(Продолжение следует)